

Евгений Ищенко

Привет,
я!

Всё, что нельзя ~~вычеркнуть~~

Евгений Ищенко

Привет, Я!

«Автор»

2026

Ищенко Е.

Привет, Я! / Е. Ищенко — «Автор», 2026

Артём Левин работает корректором в сахалинской типографии и ведёт предельно незаметную жизнь. На то есть веская причина: в теле Артёма живут два разных сознания, которые ежедневно сменяют друг друга в двух почти идентичных параллельных мирах. Двадцать четыре года они выживают благодаря жёсткому набору правил и тайной переписке в закрытом мессенджере. Система идеальна, пока в их общей жизни не появляется медсестра Лена. Женщина, которая полюбила Артёма, не подозревая, что любит двоих. Когда оба сознания понимают, что больше не хотят делить её и отказываются следовать правилам, реальность начинает рваться по швам, привлекая внимание Тех, кто следит за аномалиями.

© Ищенко Е., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Ничего нового	6
Глава 2. Всё по канве	16
Глава 3. Бабушка	27
Глава 4. Хорошо, что ты у меня есть	40
Глава 5. Маятник	54
Конец ознакомительного фрагмента.	64

Евгений Ищенко

Привет, Я!

Все совпадения с реальными именами, местами и событиями, описываемыми в книге, — случайны.

Все несовпадения неслучайны.

«Каждое личное существование держится на тайне, и, быть может, отчасти поэтому культурный человек так нервно хлопочет о том, чтобы уважалась личная тайна».

А. П. Чехов, «Дама с собачкой»

Глава 1. Ничего нового

Конец августа в Южно-Сахалинске выдался сырым.

Дождь зарядил ещё с обеда — мелкий, настырный, без настоящей силы, но с той упрямой последовательностью, с какой вода всегда умела побеждать сахалинские города. К вечеру четверга город раскис окончательно: тротуары потемнели, дворы и дороги проросли лужами, а окна домов стали похожи на тусклые аквариумы.

Артём смотрел в окно автобуса.

За стеклом плыло серое пятно, в котором изредка проступали огни магазинов, фары встречных машин, красные точки стоп-сигналов. Всё тут же размазывалось дождём, будто кто-то проводил по городу мокрой ладонью.

Сегодня он опять задержался на работе.

И вовсе не потому, что был ответственным работником. Просто увлёкся.

Работу корректора в небольшой местной типографии сложно было назвать творческой, но Артём давно научился находить в ней то, что другим, наверное, показалось бы смешным. Чужая ошибка — маленькая брешь в порядке вещей. Лишняя запятая. Неверное окончание. Неправильный перенос. Сдвоенный пробел.

Практика показывала: ни текстовые редакторы, ни онлайн-корректоры не спасали людей от ошибок.

А исправить — это значит на несколько секунд ощутить себя человеком, который ещё способен что-то привести в норму. Ощутить себя почти богом. Маленьким, усталым, плохо выпавшимся богом районного масштаба.

Но задерживаться Артём не любил. Любое отклонение от графика давало осадок — не сразу, нет. Сначала просто лишние десять минут. Потом непродуманная фраза. Потом чужой вопрос, на который у тебя нет ответа. Потом необходимость делать вид, что всё так и должно быть.

Всё должно идти по канве.

Иначе начиналась волна.

Автобус дёрнулся, вздохнул тормозами и остановился. Артём поднялся, придерживаясь за липкий поручень, протиснулся к выходу и шагнул под дождь.

На остановке он торопливо накинул капюшон, перепрыгнул через две лужи, неудачно наступил в третью и, уже не пытаясь спасти кроссовки, почти бегом свернул на узкую тропинку между домами.

Под козырьком подъезда стояла Тамара Ивановна Шульц.

Стояла так, будто её поставили туда караулить конец света, а потом забыли на этом посту сменить. Куртка поверх домашнего халата, тапки на босу ногу, в одной руке пакет с мусором, в другой — потухшая сигарета. Пакет она, очевидно, собиралась донести до контейнера, но дождь внёс коррективы, и теперь Тамара Ивановна смотрела на тучи с личной обидой.

Мимо неё проскочить было невозможно. Никогда.

Бывший комендант студенческого общежития — это не должность. Это состояние души. Привычка знать всё обо всех въелась в Тамару Ивановну глубже, чем никотин въедается в обои прокуренной квартиры. Теперь, на пенсии, она управляла подъездом старенькой пятиэтажки на проспекте Мира с тем же чувством долга, с каким когда-то управляла тремя сотнями студентов.

И с тем же усердием.

Знала, кто во сколько уходит. Кто когда возвращается. У кого новая девушка. Кто выносит мусор не по расписанию. Кто не выносит вовсе. Кому пора убрать коробки с балкона. Кто

опять курил на лестнице и думал, что запах не выдаст. И нарушителям образцового порядка доставалось от Тамары Ивановны по полной программе.

Но Артёма Левина из тринадцатой квартиры она любила.

Не курит. Не буянит. Весной помог починить клумбу у подъезда — сам, молча, она даже не просила. Соседям помогал с мебелью. Летом поймал двух воробьёв, залетевших на лестничную площадку, — аккуратно, ладонями, не придушил, выпустил во двор.

Вежливый. Тихий. Станный немного, это да. Но кто из нас не странный, если присмотреться?

— Артём? — Тамара Ивановна посмотрела на него поверх очков. — Опять на работе задержался? Или девушку провожал?

Голос у неё был с хрипотцой — наследство от сигарет и двадцати трёх лет окриков «Отбой в одиннадцать!».

— Здравствуйте, Тамара Ивановна! — Артём заскочил под козырёк и скинул капюшон. С волос на лоб сразу упала холодная капля. — Да нет, доделывал рекламный проспект.

Тамара Ивановна прищурилась.

— Утром здоровались, забыл, что ли? Вот поражаюсь я твоей памяти, Артём. День через день по два раза здороваешься.

Он запнулся.

На секунду. Не дольше.

Внутри коротко ёкнуло — привычно, почти без боли, как старая царапина, задетая ногтем.

Конечно, они могли видаться утром. Наверняка тут же, у подъезда. Но писать себе об этом напоминание — слишком мелко. Другое дело, если сказал что-то важное Лене. Или накосячил на работе. Или купил что-нибудь дорогое. Такое нужно фиксировать. Иначе потом стоишь перед человеком и улыбаешься слишком долго — как будто забыл, о чём вы только что говорили.

Артём улыбнулся.

— Тамара Ивановна, я вас настолько ценю, что готов здороваться даже трижды в день. Это моя персональная программа лояльности.

Она довольно хмыкнула.

— Программа, значит... Что-то ты бледный сегодня. Заболел? Сейчас простудиться — раз плюнуть. Погоду видишь?

— Всё нормально. Неделя выдалась длинная, текстов много, голова квадратная. Завтра пятница, на выходных отосплюсь. Вам помочь мусор вынести?

Тамара Ивановна чуть приподняла пакет, будто сопоставляя его вес и собственное достоинство.

— Справлюсь. Иди уже, труженик. Отдыхай.

Артём кивнул, нырнул в подъезд и, привычно перешагивая через одну ступеньку, поднялся на четвёртый этаж. На площадке пахло сыростью и жареным луком.

Ключ мягко провернулся в замке. Щёлк — и он дома.

В квартире было темно. И почти тихо.

Абсолютной тишины в хрущёвке не бывает. На кухне гудел холодильник, у соседей сверху бубнил телевизор, смеситель в ванной подкапывал с тем особенным занудством, с каким делал это уже третий месяц, не желая ни сломаться окончательно, ни самостоятельно починиться. Артём давно подозревал, что кран действует так из принципа.

Он сбросил кроссовки. Стянул мокрую серую куртку — лёгкую, невзрачную, из тех, что покупаешь не потому, что нравится, а потому, что практично. Повесил на крючок. Мимо.

Куртка шлёпнулась на пол.

Артём посмотрел на неё. Потом поднял и повесил нормально. Под ней сразу начала собираться лужица.

В ванной он открыл кран, сполоснул руки, плеснул водой в лицо, протёр очки и вернул их на место. Выпрямился. На секунду задержался взглядом на зеркале — хотя обычно старался этого не делать.

Из зеркала смотрел мужчина, которого трудно запомнить.

Тридцать два года, но при плохом свете можно дать двадцать пять, при хорошем — все тридцать восемь. Худое лицо, обозначенные, но не резкие скулы. Тёмные волосы коротко острижены, чуть отросли на висках и затылке — пора бы к парикмахеру, но всё некогда. Серые глаза. Тёмные круги под ними не проходили ни после восьми часов сна, ни после десяти — видимо, шли в базовой комплектации. Трёхдневная щетина — не стиль, а отсутствие решения. Очки в тонкой металлической оправе чуть съехали на кончик носа.

М-да. Красавчиком не назовёшь.

Артём поправил очки, провёл мокрой рукой по волосам и отвернулся. Достаточно общения с отражением на сегодня.

Однокомнатная квартира почти в центре Южного была его единственной собственностью. И он ею гордился.

Если у Артёма Левина, корректора типографии «Буквица», и было одно безусловно верное решение в жизни, то вот оно: продать родительскую квартиру в Александровске-Сахалинском и купить эту, в Южном, за год до того, как цены на «недвижку» решили, что они — акции «Газпрома».

Квартира была небольшая. Но и сам Артём был человеком небольших потребностей.

Комната: кровать, шкаф, стол у окна. На столе — лампа, стопки распечаток, красная ручка. Возле шкафа — чехол со старенькой гитарой, на которой Артём так и не научился играть. На журнальном столике — шахматная доска с расставленными фигурами. Партия застыла на середине, как прерванный разговор.

У стены — книжная полка. «Остров Сахалин» Чехова — весь потрепанный, ещё с университета. «Трудно быть богом» Стругацких. Розенталь с закладками. Бродский — тонкий сборник, зачитанный до того состояния, когда книга сама открывается на нужной странице. Между Бродским и Розенталем — Мураками, «Кафка на пляже».

Артём Мураками не любил и не читал.

Книга стояла. Ну и пусть.

На стене висел календарь с видами Сахалина. Август: маяк Анива в тумане, чёрные скалы, белая пена.

За окном был конец этого самого августа.

Южно-Сахалинск лежал в долине мокрый и серый, как собака, которую не пустили в дом. Проспект Мира блестел, машины шуршали по воде. Сопки за крышами угадывались больше по памяти, чем глазами — тёмно-зелёные, размытые, ещё не тронутые первой желтизной. В Александровске в такую погоду пахло бы солью и водорослями. Здесь пахло только мокрым асфальтом.

Город на острове, который забыл, что он на острове.

В животе заурчало. Организм напоминал о себе грубо, но справедливо.

Артём прошёл на кухню. Перед тем как открыть холодильник, привычно скользнул взглядом по дверце.

Магнитик со скалами «Три Брата» был на месте — слева от центра.

Рядом — стикеры. Его система координат. Его штурманская карта.

Жёлтый: «Купи хлеб и кефир!»

Два зелёных: «Бабушка — суббота, 8:00 автобус, не забыть лекарства!» и «15 сентября — день рождения Лены. Не забудь!»

Розовый: «Галине Петровне — макет к пн! Я обещал».

Самый старый, выцветший: «Побрейся, изверг!»

Артём кивнул самому себе, открыл дверцу холодильника и замер перед ней, как перед витриной магазина, в который не хочешь заходить, но деваться некуда.

Жизнь внутри еле теплилась.

Кефир. Масло в полупрозрачной маслёнке с отколотым краем. Банка джема. Три помидора, один из которых уже сдался и лежал на боку с видом побеждённого. Пакет поронайского молока. Батарея кетчупов. В дверце — капли в нос, соевый соус, несколько яиц. В морозилке — сосиски, кусок мяса неустановленного происхождения и два пакетапельменей местного производства.

Артём несколько раз перевёл взгляд с сосисок на пельмени и обратно, прикидывая трудозатраты на их приготовление.

Победили пельмени.

Он набрал воду в кастрюлю. Из-под крана сначала пошла рыжеватая вода, как бывало к вечеру, и пришлось подождать, пока станет нормальной. Поставил на плиту, щёлкнул переключателем, посолил воду. Не потому, что так быстрее закипит. Просто так его когда-то научила бабушка, и спорить с этим было поздно. Да и не нужно.

Пока вода нагревалась, он включил стиральную машину. Корзина с бельём стояла в ванной неммым укором: рубашка, две футболки, носки. Артём укоризненно покачал головой, закинул всё внутрь, стянул с себя джинсы и футболку, бросил следом, нажал кнопку.

Машина загудела. Зажурчала.

На кухне сразу стало чуть менее пусто.

Телевизор, висевший рядом с микроволновкой, он включил на минимальном звуке — не смотреть, а чтобы бубнил. Ведущий сообщил, что в Сахалинской области ожидается усиление ветра до двадцати метров в секунду. Это было примерно так же неожиданно, как известие о том, что вода мокрая.

Артём вернулся к плите.

Вода ещё не закипала. Под прозрачной крышкой мелкие пузырьки отчаянно цеплялись за дно кастрюли, не решаясь оторваться. Он прислонился к столешнице, скрестил руки и стал ждать.

Ждать, пока закипит вода, — одно из немногих занятий, от которых он получал что-то вроде удовольствия.

Ничего не надо делать. Ничего не надо решать. Просто стоять и смотреть, как пузырьки набираются смелости.

Часы показывали 22:05.

Артём взял телефон. Экран вспыхнул — на заставке тёмное небо и белая ломаная линия. Молния.

Набрал Лену. Гудок. Второй.

— Алло? Тём?

Голос у неё был чуть усталый, но живой. Больничный фон слышался сразу: далёкие шаги, приглушённые голоса, короткий металлический звук где-то рядом.

— Привет. Как дежурство?

— Пока тихо. Маринка опаздывает, я одна на этаже, но это вечная история. А ты что делаешь?

— Пельмени варю.

— Левин. — Глубокий вздох. — Ты безнадежен. Когда-нибудь я приду и обнаружу, что ты сам превратился в пельмень.

— Это будет эволюционно оправдано. И вообще пельмени не простые. Говядина с ким-чой. Острые, по-корейски.

— Левин, ты — корректор! Правильно говорить: «с кимчи».

— Я же сейчас не на работе. А бабушка вообще её чимчой называет...

Она засмеялась.

У Лены смех всегда начинался с выдоха — короткого, будто она сначала снимала с плеч что-то тяжёлое, и только потом позволяла себе смеяться по-настоящему.

Хороший звук. Правильный. Ради одного этого выдоха стоило звонить каждый вечер.

— Слушай, я вчера на тебя ни с того ни с сего вскинулась из-за какой-то ерунды... сама не пойму, что нашло. Не злишь, ладно? Устала, наверное.

— Да ерунда. Я и не помню уже.

— Ты — лучший, Левин! Ладно, я побежала, — сказала она. — Маринка пришла наконец. Утром созвонимся?

— Да, конечно. Спокойного дежурства!

— Спасибо, Тём. Спокойной ночи.

Связь оборвалась.

Вода в кастрюле уже кипела.

Артём надорвал пакет, высыпалпельмени. Они ухнули разом, вода на секунду обиделась, перестала кипеть, потом забурлила снова. Он помешал ложкой, убавил огонь, засёк время не по часам, а своим внутренним счётчиком.

Семь минут. Не больше.

Разваренныепельмени — это уже не еда. Это капитуляция.

Он стоял, помешивал и смотрел, какпельмени всплывают один за другим: бледные, набухшие, покорные.

Думал о Лене.

Год и два месяца. Для нормального человека — ещё начало. Для него — рекорд. Абсолютный, мировой, с занесением в личную книгу Гиннесса.

Ни одни его отношения до Лены не продлились дольше полугода. Девушки уходили. Не потому что он был плохой, скучный или жадный. А потому что он был странный.

Кому понравится человек, который не всегда помнит, что говорил пять минут назад? Который вздрагивает от предложения вдруг сорваться за город или пойти вечером в клуб. Который живёт по расписанию и нервничает, когда оно ломается.

«Тебе вообще кто-нибудь нужен?» — спросила Инна, последняя девушка перед Леной.

Хороший вопрос. Честный.

Ответа у него тогда не нашлось.

А потом появилась Лена.

Они столкнулись в дверях областной больницы, когда он проходил очередной внеплановый медосмотр. Она несла стопку карточек, он толкнул дверь, карточки разлетелись испуганными воробьями, но три из восьми он успел поймать на лету.

— Какие быстрые руки, — заметила она.

— Профессиональное.

— Вы хирург?

— Почти. Вырезаюбольные буквы и пришиваю здоровые. Я корректор.

Она засмеялась.

Вот так. Короткая встреча, после которой что-то в нём сместилось. Не громко. Не торжественно. Просто прежний порядок перестал быть единственно возможным.

Лена не лезла с вопросами. Не спрашивала, почему он иногда не помнит, о чём они говорили утром. Не трогала стикеры на холодильнике. Не требовала объяснений сразу.

Она работала с больными детьми по двенадцать часов через смену. Терпение у неё было не врождённое — натренированное.

Она просто была рядом. И от этого было так хорошо, что делалось страшно.

В последнее время Лена начала намекать. Мягко, почти небрежно:

— Мама звонила. Спрашивает, когда приедем.

— Папа хочет познакомиться.

И, увидев его растерянность, тут же отводила разговор в сторону.

Она давала ему дышать. Давала время на «подумать».

Родители Лены жили в Охе — другой конец острова, почти тысяча километров. За сутки туда и обратно не обернёшься. Артём понимал: рано или поздно ехать придётся. Но пока он был не готов. Потому что поездка к её родителям означала ломать расписание.

А расписание ломать нельзя.

Всё должно быть в канве.

Пельмени сварились.

Артём выловил их шумовкой в тарелку, бросил сверху кусок масла. Масло поползло, растворяясь и оставляя жёлтый след. Он ел стоя у окна, макая пельмени в кетчуп и глядя, как дождь стекает по стеклу.

Впрочем, смотреть было уже не на что: за окном висела сплошная чёрная простыня.

Завтра пятница. Последний рабочий день. Дотянуть — и выходные. Каталог «Сахалин-мебели» почти добит. Буклет стройфирмы на подходе. Галина Петровна вроде бы довольна. Женька обещал доверстать обложку к обеду.

Нормальная пятница. Спокойная. Если ничего не случится.

Артём поймал себя на этой мысли и замер с вилок в руке. Потом медленно прожевал.

Ничего не случится. Четверг прошёл чисто. Завтра всё пройдёт так же.

Канва. Держись канвы.

Послезавтра нужно к бабушке. Два часа автобусом до Холмска, потом маршрутка до посёлка. К одиннадцати — на месте. Антонина Павловна будет ждать с пирогами. Она всегда ждала с пирогами — даже когда болела, даже когда ноги ходили плохо.

Завтра надо купить лекарства по списку. Список — в телефоне, чтобы помнить.

Пельмени неожиданно закончились.

После ужина — обязательный ритуал: вымыть тарелку и кастрюлю, поставить в сушку, протереть стол. Не потому, что он любил порядок. Просто некоторые вещи должны были оставаться на своих местах. Хотя бы вещи.

В комнате Артём остановился перед шахматной доской. Посмотрел на позицию. Чёрные вчера сходили конём на f6. Хороший ход. Неожиданный.

Он подвинул белого слона на c4 и записал свой ход в блокнот, лежавший рядом с доской.

Потом сел за стол и открыл ноутбук.

Ноутбук загружался с тем же энтузиазмом, с каким сам Артём по утрам вставал на работу: через силу и с паузами.

На рабочем столе он открыл папку с названием «НЕ читать».

Три с лишним сотни файлов.

Вместо названий — даты.

Он помнил, что вчера писал что-то стоящее. Про осенний свет на сопках. Про то, как солнце перед закатом пробивает облака, и на несколько минут весь город становится золотым, и ты стоишь посреди улицы, не в силах двинуться, потому что боишься спугнуть.

Он помнил не строки. Ощущение. Строчки складывались сами, легко, одна за другой. Оставалось всего два-три слова, чтобы замкнуть.

Но вчерашнего файла в папке не было. «Вчера» вообще — слово ненадёжное. Особенно для него.

Артём пролистал список, уже зная, что не найдёт. Последний файл — трёхдневной давности. Неоконченные строки про дождь. Он открыл его. Посмотрел. Попытался дописать.

Не получилось. Момент ушёл.

Артём открыл один из старых файлов — черновик, который тянулся за ним уже более полугода:

«За твоим окном — зима...»

Дальше первой строфы никак не шло. Но он и не собирался никому это показывать. Никому — особенно ей.

Артём вздохнул и создал новый файл:

«Опять дождь. Город молчит, как будто ему нечего мне сказать. А может, всё уже сказано, и я просто не расслышал, пока правил чужие запятые и считал чужие ошибки. Ну и ладно. Я привык не дочитывать до конца...»

Он остановился.

Не то. Не так. Вчера летело. Сегодня — ползло.

Он не писал стихи — он их слышал. Правильное слово звучало чисто, а неправильное фальшивило, и не было в мире красной ручки, способной это исправить.

Но он всё равно сохранил файл и закрыл папку.

Взгляд сам скользнул к гитарному чехлу возле шкафа. Пальцы левой руки шевельнулись. Сами. Будто вспомнили что-то, чего он не умел.

Артём отвернулся.

Открыл отечественный мессенджер.

Страница: Артём Левин — Молния.

Закрытый профиль. Аватарка — серый силуэт. Друзей — ноль. Подписчиков — ноль.

«Мои сообщения».

Одна переписка — с самим собой.

Артём Левин — Молния → Артём Левин — Молния.

Лента была длинная. Очень длинная. Годы. Каждый день — по одному-два сообщения. Иногда три. Иногда четыре. Все — от себя к себе.

Он не стал перечитывать предыдущие. Незачем.

Набрал:

«Привет, Я!

Четверг.

Лене звонил, пошутил про пельмени, она смеялась — думаю, нормально, не перегнул. Позвони ей утром, она ждёт! Хлеб купить забыл, прости. Ход — слон с4. Опять два раза поздоровался с Тамарой Ивановной. Мог бы и предупредить, между прочим!

Поэт.»

Отправил.

Всего несколько строк.

Потому что день был хороший. Чистый.

Он ничего не сломал. Не создал волну. Не сказал лишнего. Не свернул не туда.

В чистый день писать почти нечего. И это лучшее, что бывает.

Артём закрыл ноутбук.

Прошёлся по квартире. Стиральная машина уже перешла на отжим и гудела с надрывом, будто внутри кто-то боролся за жизнь. Телевизор всё ещё бубнил на кухне, и он выключил его. За окном — чернота, дождь, редкие фонари.

А где-то далеко было море.

В Александровске он вырос с запахом моря. Потом четыре года прожил в Хабаровске, учился на филфаке — и отвык. Потом вернулся на остров, но не в Александровск — сюда. В город без моря.

Иронично.

Он задёрнул шторы. Почистил зубы. Выключил свет. Лёг.

Тишина. И дождь — ровный, бесконечный, безразличный.

Артём уснул.

Ему снилась дорога.

Мокрая, разбитая, с лужами, в которых отражалось серое небо. Сопки по обеим сторонам — тёмные, мохнатые от ельника. Низкие облака цеплялись за вершины. Перевал.

Он сидел на заднем сиденье.

Ему восемь.

Ноги не доставали до пола. На коленях лежал маленький синий рюкзак с нашитой ракетой. Внутри что-то тихо звякало при каждой кочке — тонко, стеклянно, как маленькие колокольчики.

Впереди — папа за рулём. Мама рядом, на пассажирском. Папины руки на руле — большие, крепкие, в рыжих волосах. Мама что-то говорила. Слов он не слышал, только голос — тёплый, спокойный.

Дождь бил в лобовое стекло.

Дворники метались из стороны в сторону и не справлялись. Ветер ударил в борт. Машину повело. Папа сказал что-то маме — коротко, напряжённо. Она замолчала.

Потом всё случилось сразу.

Грохот. Скрежет.

Машина ушла вбок, и мир начал вращаться — медленно, почти торжественно, как бывает только во сне, хотя внутри сна всё было по-настоящему. Мамин крик — или не крик, а резкий вдох, будто ей не хватило воздуха. Папины руки на руле побелели от напряжения.

Он вцепился в рюкзак. Там что-то звякнуло — тонко и чисто, сквозь грохот.

И он закричал с заднего сиденья:

— Папа, влево!..

Артём открыл глаза.

Темнота. Тишина. Дождь за окном — ровный, мерный, по карнизу.

Сердце стучало гулко, быстро, почти в горле. Во рту был привкус металла. Руки мокрые. Футболка мокрая.

Левая рука сама, раньше мысли, скользнула к правой ключице. Под пальцами — тонкий рубец. Шрам был на месте.

Артём выдохнул. Медленно. Длинно.

Двадцать четыре года — один и тот же сон. Одна и та же дорога. Один и тот же крик.

Он повернулся на бок, натянул одеяло до подбородка. Дождь стучал по карнизу.

Ровно.

Ровно.

Ровно.

Он снова уснул.

Будильник зазвонил в 7:15.

Артём открыл глаза.

Потолок. Трещина в штукатурке, похожая на реку с притоками.

Левая рука — привычно, раньше, чем он проснулся полностью, — скользнула к правой ключице.

Пальцы прошли по коже — гладко. Шрама не было.

Правая рука поднялась к виску. Над правым ухом — тонкий рубец.

Артём сел на кровати. Спокойно. Так садятся люди, для которых утро начинается не с потягивания, а с проверки. Очки нашли своё место на носу.

Потянулся к тумбочке. Телефон лёг в ладонь привычно. Экран блокировки — серый фон, белая закрывающая скобка.

Не молния — скобка.

Артём положил телефон обратно.

Комната была та же. Стол. Лампа. Полка. Гитарный чехол в углу. Календарь с маяком.

На тумбочке рядом с телефоном лежала книга — раскрытая, обложкой вверх.

Мураками. «Кafka на пляже».

Опять читал перед сном. Чего удивляться, что зрение портится.

Артём посмотрел на шахматную доску.

Партия была в эндшпиле. Белый король на g2, чёрная ладья на e1, россыпь пешек. Ничего общего со вчерашней позицией. Вчера он двигал слона на c4. Там была другая игра. Другая стадия. Другое напряжение.

Он смотрел на доску несколько секунд. Потом отвёл глаза.

На кухне магнитик «Три Брата» висел на правой стороне дверцы.

Артём включил чайник. Открыл хлебницу. Белый. Свежий.

Пятница. Последний рабочий день. Завтра — бабушка.

Он вернулся в комнату, сел за стол, открыл ноутбук. Пока тот загружался, потёр пальцы, посмотрел в окно. Дождь. Сопки. Южно-Сахалинск просыпался медленно, придавленный небом.

Ноутбук ожил, и Артём открыл мессенджер.

Страница называлась:

Артём Левин — Скобка.

Закрытый профиль. Серый силуэт. Друзей — ноль. Одна переписка — с самим собой.

Последнее сообщение — вчерашнее, отправлено в 23:05:

«Привет, Я!

Четверг.

Лене вечером не звонил, решил не дёргать на дежурстве. Если ты позвонил, надеюсь, что мне напишешь. Хлеб купил. На работе сказал Галине Петровне, что макет будет к понедельник — надеюсь, у тебя то же самое, если нет, подправь по ситуации. Стихи не трогал, но прочитал твоё последнее: ничего так, третья строчка хорошая, хотя финал не дотянут, как обычно. Ладно, тебе виднее. Ход — ладья e1.

Гитарист.»

Артём прочитал сообщение два раза.

Потом откинулся на спинку стула и посмотрел в потолок.

Трещина — река с притоками.

Он обернулся на шахматную доску.

Чёрная ладья стояла на e1. Всё верно.

Артём закрыл ноутбук. Встал. В несколько жадных глотков выпил чай. Вымыл чашку. Поставил в сушку.

Пятница. Дождь.

А где-то — здесь же, в этом же городе, в этой же квартире, но в другом мире — проснулся другой Артём. Потрогал ключицу и нащупал шрам. Взял телефон — на экране вспыхнула молния. Открыл мессенджер и прочитал вчерашнее сообщение. Про пельмени. Про звонок Лене. Про Тамару Ивановну. Про слона на с4.

И, наверное, усмехнулся.

Потому что они оба усмехались одинаково.

Ничего нового.

Глава 2. Всё по канве

Утро началось с запаха пены для бритья.

Артём стоял перед зеркалом, разглядывая трёхдневную щетину.

«Побрейся, изверг!» — стикер на холодильнике не врал. Кто из них его написал — он уже не помнил. Но стикер, хоть и с пробуксовками, работал.

Артём вёл станком по скуле — медленно, с тем преувеличенным вниманием, с каким бреются люди, которые делают это не каждый день. Станок был не новый, но и не настолько старый, чтобы это считалось подвигом. Пена пахла чем-то хвойным. Зеркало запотело снизу — горячая вода, тесная ванная, отвратительная вытяжка.

Он закончил, ополоснул лицо ледяной водой, вытерся полотенцем и посмотрел на себя.

То же лицо. Те же серые глаза. Те же тёмные круги, которые не проходили никогда. Но без щетины он выглядел моложе и, пожалуй, уязвимее. Как будто снял одну из нескольких защитных оболочек.

Левая рука уже второй раз за утро нащупала шрам на правой ключице. Кончики пальцев — указательного, среднего, безымянного — были жёсткими, с плотными мозолями, похожими на маленькие подушечки из загрубевшей кожи. Следы от струн. Его следы. В каком бы мире он ни оказался, мозоли были. Потому что он играл на гитаре в обоих.

Тела помнили. Тела вообще помнили больше, чем следовало.

Другой Артём мозоли не любил. Однажды он написал в дневнике:

«У меня пальцы корректора, а подушечки — как у сварщика. Лена решила, что я натрудил пальцы, работая с гвоздями. Пришлось соврать про починку забора у бабушки. Это всё ты и твоя гитара! Не свети пальцами!»

С тех пор Артём пальцы старался лишний раз другим людям не показывать. Чтобы у второго него не возникло сложных ситуаций.

Артём выключил воду и прошёл на кухню. Хотел приготовить тосты, но другой Артём вчера забыл купить хлеб. Ну и для кого, скажите на милость, висит стикер на дверце холодильника?

Артём вздохнул, съел один из оставшихся помидоров, запил его сладким чаем.

За окном шёл дождь.

Пятница.

Он уже знал всё самое важное, что произошло в этом мире вчера. Знал из сообщения, прочитанного первым делом после того, как проснулся, потрогал ключицу и нашёл под пальцами шрам-молнию.

Мир-Молния. Тело-Молния. Телефон с молнией на заставке.

А сообщение было от другого Артёма — написанное вчера вечером, в этом же мире, в этом же теле, но другим сознанием.

«Привет, Я!

Четверг.

Лене звонил, пошутил про пельмени, она смеялась — думаю, нормально, не перегнул. Позвони ей утром, она ждёт! Хлеб купить забыл, прости. Ход — слон с4. Опять два раза поздоровался с Тamarой Ивановной. Мог бы и предупредить, между прочим!

Поэт.»

Артём усмехнулся, когда прочитал.

Потом усмехнулся ещё раз — потому что знал: другой Артём, проснувшись в Мирескобке, в эту же минуту читает его вчерашнее сообщение и, возможно, тоже усмехается. Или ворчит. Поэт чаще ворчал. Особенно если не мог найти свои стихи там, где их не было.

«Позвони ей утром».

Да. Это правило не было записано в блокноте. Оно было важнее любого блокнота, и выполнялось ими неукоснительно.

Лена не должна чувствовать разрыв. Лена не должна слышать паузу, которую она не сможет объяснить. Лена не должна подумать, что вчера она общалась с одним Артёмом, а сегодня уже с другим.

Лена вообще ничего не должна заподозрить.

Это было главное.

Главнее канвы. Главнее расписания.

Артём взял телефон. Экран — тёмное небо, белая молния. Набрал.

Она ответила на третий гудок. Голос тёплый, домашний. После ночного дежурства она, добравшись до дома, обычно принимала душ, потом пила кофе, потом звонила маме, и только потом укладывалась спать. Он знал этот распорядок. Они оба знали.

— Тём? — Зевок. — Ой, прости, что-то меня душ совсем не взбодрил. Привет.

— Доброе утро. Как доехала?

— Нормально. Такси за восемь минут, представляешь? Новый рекорд для Южного.

— Поздравляю. Это, наверное, означает, что мир становится лучше.

Она тихо рассмеялась. Смех после тяжёлой ночной смены у неё обычно был мягче, словно она сбрасывала с плеч рабочую усталость. Утром она всегда была легче. Просто — Лена.

— Мама звонила, опять ворчит...

— Про то, что ты нашла себе корректора, а надо кого-то посolidнее? — Артём улыбнулся.

Он практически наизусть знал всё, что говорила Лене её мама. Словно уже был знаком со всей её семьёй, ещё ни разу с ними не видевшись.

— Ну да, типа того. Мол, папа не одобрит...

— А ты ей что?

— А я говорю: мам, поздно — я уже одобрила!

Посмеялись.

— Ты как? — спросила она.

— Побрился.

— Серьёзно?

— Стикер на холодильнике победил.

— Левин, если тебя можно мотивировать стикерами, я обклею ими тебе всю квартиру. «Поцелуй Лену». «Не ешь пельмени три дня подряд». «Улыбнись, корректор».

— Для первого стикер не нужен. А последний не сработает. У меня профессиональная деформация. Я улыбаюсь только чужим ошибкам.

Пауза. Секунда, может полторы.

— Мне вчера приснилось, — сказала Лена, — что мы едем в поезде. Ты и я. Вагон пустой. И ты сидишь напротив и молчишь. Не грустно. Просто молчишь. Я тебя спрашиваю — куда едем? А ты говоришь: я не знаю, но это нормально.

Артём стоял у окна.

Подоконник под пальцами был холодный.

— Звучит как хороший сон, — сказал он.

— Звучит как ты.

Она помолчала.

— Ладно. Мне спать ещё. Позвонишь вечером?

— Позвоню.

— Хорошего дня, Тём.

Она отключилась.

Артём ещё секунду держал телефон. Потом положил на стол, экраном вниз.

Лена видела его во сне. Для неё он всегда был один. Один Артём. Иногда странный. Иногда нежный. Иногда — будто не здесь.

Она не знала, что «не здесь» — это не метафора.

В комнате он остановился перед шахматной доской.

Слон на с4. Ход Поэта. Белые.

Артём сел на край стула и посмотрел на позицию. Чёрными играл он — в этом мире, в этой партии. Уже видел вариант: конь на d5, и потом, если белые берут слоном, можно развернуть ферзевый фланг. Красивый ход. Агрессивный. Поэт не ожидает.

Но пальцы не потянулись к фигуре.

Не сейчас.

Решения по утрам он принимал хуже, чем по вечерам. Утром хотелось резких ходов, широких жестов, нетерпеливых прорывов. К вечеру приходило терпение. А в шахматах с другим собой терпение было важнее азарта.

Они оба это знали, и их партии тянулись неделями.

Артём встал, оделся (джинсы, выстиранные вчера другим Артёмом, ещё не высохли, и пришлось надевать брюки). Проверил карманы. Ключи. Телефон.

Пятница. Канва.

На выходе из подъезда Тамары Ивановны не было. Только мокрый асфальт и починенная весной клумба, в которой бархатцы стояли как солдаты, получившие приказ цвести, и они стойко его исполняли, несмотря на дождь.

Типография «Буквица» встретила его запахом бумаги и краски.

Этот запах был одинаковым в обоих мирах. Абсолютно. Запах типографии вообще успокаивал его больше, чем следовало. В мире, где даже люди иногда расходились по мелочам, бумага и краска были надёжнее многих. Бумага, тонер, кофе из общей кофеварки, горячая пыль от принтера. Среди всего, что могло различаться: настроение начальницы, степень бардака на Женькином столе, количество недоделанных макетов — запах типографии оставался по-настоящему надёжной константой.

Артём повесил куртку на крючок, прошёл в корректорскую и сел за свой стол.

Стол стоял у окна. Окно не открывалось до конца и потому лишь изображало участие в проветривании. На столе — распечатки, красная ручка, стакан с карандашами, влажная салфетка для очков и кружка с надписью «Я здесь не для красоты». Кружку ему когда-то подарил Женька. Галина Петровна сказала тогда, что надпись спорная.

Он включил компьютер.

Пока тот загружался, Артём открыл рабочий блокнот. Не тот, что дома, с шахматами. Этот лежал в верхнем ящике стола и содержал две категории записей: рабочие пометки и то, что нельзя забыть.

Рабочие пометки были скучными: «ГП — макет пн», «каталог — стр. 23, написание эко-кожи», «буклет — третий блок, перепроверить».

Второй блок — важнее.

«Бабушка — лекарства, список в телефоне».

«Не обсуждать поездку в Оху».

«Если Женька спросит про выходные — занят».

Последнее было подчёркнуто.

Потому что Женька вечно предлагал субботние мероприятия — рыбалку, шашлыки, поездку на мыс, пиво у кого-нибудь на даче, — и каждый раз не мог понять, почему Артём отказывается.

«Левин, ты живёшь как пенсионер! — Частенько причитал Женька. — Тебе тридцать два, а не семьдесят!»

Объяснить причину было невозможно. Придумывать поводы — утомительно. Поэтому Артём просто был занят. Всегда. Особенно — по субботам.

— Левин! — Голос из кабинета.

Галина Петровна.

Она не кричала. Она не умела кричать. Она просто произносила фамилию с такой интонацией, что воздух в коридоре уплотнялся и нёс звук куда надо.

Артём встал и пошёл к ней.

Кабинет Галины Петровны был маленький, но очень организованный. Три стопки бумаг на столе. Календарь на стене с отмеченными дедлайнами, два из которых горели красным. Фотография кота в рамке. Кот на фотографии выглядел так, будто проверял чужие макеты и не был доволен.

— Буклет стройфирмы, — сказала Галина Петровна, не поднимая головы. — Где?

— Почти готов.

— Левин, слово «почти» — это вирус. Оно заражает предложение и убивает дедлайн.

— Третий блок. Абзац про гарантию. Там юридический язык и рекламный язык пытаются жить в одной фразе.

— И?

— И не могут. Я дочищу к обеду.

Она наконец подняла глаза. Очки на кончике носа — фирменный жест. Очки у Галины Петровны были не для зрения. Они были для того, чтобы смотреть поверх них.

— К обеду, Левин. Не к «ближе к обеду». Не к «после обеда». К обеду. Точка.

— Точка, — согласился Артём.

— И каталог мебели, — добавила она. — Женька обложку довёрстывает. Когда принесёт, проверь текст на обложке до того, как он уйдёт в печать.

— Хорошо.

— Там слоган новый.

— Какой?

— «Мебель, которая понимает дом».

Артём помолчал.

— Мебель не субъект познания, — сказал он.

Галина Петровна смотрела на него три секунды.

— Левин, — сказала она. — Это реклама. Тут диван понимает дом, стиральная машина заботится о семье, а йогурт дарит ощущение свободы. Идите работать.

«Ага. А просроченный йогурт дарит ощущение свободы кишечника».

Артём не стал произносить это вслух и просто вернулся к себе.

Буклет стройфирмы лежал на столе, утыканный красными пометками, как подушка для иголок. Третий блок действительно был плох. Юрист писал, что «гарантийные обязательства распространяются на конструктивные элементы здания в соответствии с действующим законодательством». Рекламщик хотел, чтобы это звучало как «мы построим — и не подведём». Между ними лежала пропасть, через которую Артёму предстояло навести мост из четырёх предложений.

Он взялся за красную ручку.

Работа пошла.

Не быстро, не легко, но ровно. Привычный ритм. Глаз выхватывал ошибку раньше, чем мозг формулировал, что именно не так. Красная ручка двигалась сама — ставила галочки, вычёркивала, рисовала стрелки.

Здесь он мог исправлять.

Здесь ошибки были видимые, понятные, конечные.

У ошибок в тексте не было второго мира, в котором они оказывались правильными.

В одиннадцать из соседней комнаты появился Женька.

Он выглядел так, будто ночью воевал с чем-то невидимым и проиграл: волосы в разные стороны, на футболке пятно от кофе (или от вчерашнего кофе, или от позавчерашнего, — с Женькой это было как археологическое исследование). В руках он нёс распечатку обложки каталога и кружку, содержимое которой по цвету не отличалось от типографской краски.

— Левин. Оцени.

Он положил лист перед Артёмом.

На обложке красовался белый диван. Рядом с ним стояла женщина с чашкой, а на диване сидел ребёнок, который смотрел в камеру с выражением человека, осознающего бессмысленность рекламных фотосессий.

Сверху, крупным мягким шрифтом: «Мебель, которая понимает дом».

— ГП утвердила? — спросил Артём.

— ГП утвердила с лицом, которое означает: «Я устала спорить с заказчиком».

— Вылеты есть?

— Обижаешь.

— Я не обижаю. Я спрашиваю, потому что в прошлый раз ты сдал обложку без вылетов и Галина Петровна три дня разговаривала с тобой через третьих лиц.

— Это было художественное решение.

— Это было обрезание логотипа.

— Логотип выжил.

— Чудом.

Женька отпил из кружки.

— Ладно, Розенталь. Текст проверь, слоган я уже поправить не могу, он от заказчика.

Шрифт — мой, кернинг — мой, совесть — чиста.

— У тебя нет совести. У тебя есть кернинг.

— Это одно и то же, если ты верстальщик.

Артём посмотрел на обложку ещё раз. Поправил одну запятую в тексте снизу. Вернул лист.

— Годится.

— Спасибо, мастер. — Женька забрал обложку и двинулся к двери, но обернулся на полпути. — Слушай, а ты завтра чем занят? Олег зовёт на дачу, мясо, пиво, всё как обычно. Без фанатизма. К шести точно обратно будешь.

— Занят.

— Чем?

— К бабушке еду.

— Ты каждую субботу к бабушке ездишь.

— Да.

— Каждую, Левин.

— Она старенькая. И готовит пироги.

Женька помолчал.

— Ладно. Пироги — это аргумент. Но если когда-нибудь соберёшься жить, а не просто существовать — ты скажи, мы подождём.

Он вышел.

Артём некоторое время смотрел на дверной проём, в котором Женька уже не стоял.
«Существовать».

Хорошее слово.

Точнее было бы — лавировать. Но кому это объяснишь.

Он вернулся к буклету.

Работа заняла остаток утра. Третий блок наконец выстроился: гарантия звучала как гарантия, реклама — как реклама, и они больше не толкались локтями. Артём перечитал всё целиком, расставил последние пометки, пронумеровал листы и сложил в папку.

Без десяти двенадцать он понёс папку Галине Петровне.

— Готово.

Она взяла. Полистала. Остановилась на третьем блоке, прочитала молча.

— Лучше, — сказала она.

Для Галины Петровны «лучше» было высшей формой похвалы. Следующая ступень — «годится». Выше не поднимался никто.

— Спасибо, Левин. После обеда каталог — в печать. Проверьте ещё раз страницу двадцать три.

— Экокожа.

— Вы запомнили.

— У меня профессиональная травма от этого слова.

Уголки её губ чуть дёрнулись, обозначая что-то вроде улыбки.

Артём вышел из кабинета и пошёл по коридору к корректорской.

Было 11:52.

Обычная пятница.

Буклет сдан. Каталог — после обеда. Через несколько часов можно будет выдохнуть. Вечером — купить лекарства для бабушки, позвонить Лене, написать отчёт в дневник, может быть, сделать ход на доске.

Обычная пятница.

Он шёл по коридору. Надо ещё записать своё утро в блокнот. Но это потом, после обеда.

Справа — кабинет Галины Петровны. Слева — дверь в комнату с принтером. Впереди — коридор, стена, кулер, коробки с бумагой, из которых одна была подписана маркером «НЕ ТРОГАТЬ!!!», и именно поэтому стояла криво, явно тронутая.

Артём сделал ещё два шага.

И услышал звон.

Тихий.

Тонкий.

Далёкий — будто где-то за стенами, за дождём, за краем города тронули маленькие стеклянные колокольчики.

Мизинец правой руки дёрнулся.

Раз.

Артём остановился.

Ноги встали сами, будто наткнулись на невидимый порог. Руки опустились вдоль тела. Лицо не изменилось. Он научился этому давно — не менять лицо.

Коридор был пуст.

Хорошо.

Он повернулся к стене и прислонился плечом, будто просто остановился передохнуть. Левая рука легла на кулер. Правая — в карман, к телефону. Пальцы сжали корпус.

Звон стал выше.

Мизинец дёрнулся второй раз.

Мир вокруг не изменился. Не вздрогнул. Не потемнел. Всё было на месте — стены, коридор, свет, гул принтера за дверью. Просто между одной секундой и следующей появилась щель. Узкая, как трещина в стекле. Невидимая. Но он её чувствовал всем телом.

Третья секунда.

Четвёртая.

Он закрыл глаза.

Внутри что-то сместилось — не резко, не больно. Будто кто-то вынул одну тонкую пластину из стопки, а на её место вставил другую. Почти такую же.

Почти.

Артём открыл глаза.

Коридор.

Тот же коридор. Те же стены. Тот же свет. Гул принтера. Запах бумаги.

Но стоял он теперь у дверей корректорской.

Правая рука достала из кармана телефон.

Экран вспыхнул.

Серый фон. Белая закрывающая скобка.

Скобка.

Артём убрал телефон. Медленно, чтобы движение выглядело обычным. Провёл рукой по волосам, коснулся пальцами виска — выше, за ухом.

Тонкий рубец.

Есть.

Выдохнул.

Коридор был по-прежнему пуст. Он прислушался: за дверью Галины Петровны — тишина. Значит, здесь он к ней ещё не заходил. Или уже вышел. Нужно уточнить.

Артём достал телефон снова, открыл заметки.

Последняя запись — сегодняшняя, в 9:14:

«Пятница. Пришёл на работу. Буклет — третий блок, дочищаю. Каталог после обеда. ГП в обычном режиме. Женька верстаёт обложку. Стикер на кружке Женьки — новый (раньше не видел, или не помню, неважно). Всё по канве».

Три строчки. Ничего нового. Ни предупреждений, ни пометок «внимание». Просто рабочий день.

Артём закрыл заметки.

Значит, здесь, в Мире-Скобке, всё шло так же. Буклет. Третий блок. Каталог. Обложка.

Он прошёл в корректорскую, сел за стол.

Стол был тот же. Всё на столе — тоже. Вот только красная ручка лежала не справа, как он привык, а слева. Манера Поэта — класть ручку слева — должна была стать их общей привычкой, но так и не стала. Мелочь. Из тех мелочей, которые цепляют глаз и напоминают: это не твой стол. Это — ваш стол. Общий. Как всё остальное.

Он переложил ручку вправо, но тут же вернул влево.

Канва.

Не трогай привычное!

Перед ним лежал буклет. Тот же третий блок, те же красные пометки. Почерк такой же, как и у него, но чуть мельче, чуть теснее — Поэт экономил место на полях, будто поля были последней страницей в мире.

Артём пролистал, понял, на чём тот остановился. Взял ручку. Дописал блок. Расставил запятые. Исправил «в соответствие» на «в соответствии». Заново перечитал.

Нормально.

Чисто.

В двенадцать тридцать он положил папку на стол Галине Петровне.

Она подняла бровь.

— Лучше, — сказала она через минуту.

Одно и то же слово. В обоих мирах. Это успокаивало.

Обед он провёл в комнате отдыха, где пахло растворимым кофе, микроволновкой и чьим-то вчерашним. Женька ел лапшу из контейнера и листал на телефоне фотографии навороченных мотоциклов.

— Левин, ты бы какой мотик выбрал? — спросил он, не поднимая головы.

— Никакой.

— Почему?

— Потому что у меня нет денег, желания и инстинкта саморазрушения.

— Три причины. Уважаю. А если бы деньги были?

— Тогда две причины.

— А если бы и желание?

— Тогда я бы не был собой.

Женька посмотрел на него.

— Знаешь, Левин, иногда мне кажется, что ты прожил несколько жизней и во всех устал.

Артём жевал рис из бизнес-ланча.

— Бывает, — сказал он.

После обеда — каталог.

Двадцать третья страница. Экокожа. Три написания на пяти строках.

Он исправил. Проверил остальное. На тридцать первой странице обнаружил диван, который сменил пол: был brutальный мужской «Версаль», а стал — женского рода, словно какая-то деталь дамского гардероба. Артём поправил и подумал, что у мебели в этой стране жизнь сложная, но хотя бы однозначная: диван — он. Стол — он. Полка — она. Без вариантов. Без второго мира.

Обложку принёс Женька.

— «Мебель, которая понимает дом», — прочитал Артём.

— Не начинай, — сказал Женька. — Я уже всё слышал от ГП.

— Я ничего не говорю.

— Ты сейчас скажешь, что мебель — не субъект.

— Мебель — не субъект.

— Я же говорил.

— Но слоган от заказчика. Я не трогаю.

— Вот за это спасибо.

Артём проверил текст, кернинг, вылеты. Вернул. Обложка ушла в печать.

Каталог ушёл следом.

За стеной загудел печатный станок — глубоко, плотно.

Бумага шла внутрь белыми пачками и возвращалась уже каталогами, обещавшими людям новые кухни, диваны и возможность начать жизнь с правильной тумбочки.

Пятница заканчивалась.

В пять двадцать Артём закрыл блокнот, убрал ручку в стакан, выключил компьютер. Надел куртку. Проверил карманы.

Ключи. Телефон. Кошелёк.

На выходе из типографии дождь стал мельче.

Аптека была на углу.

Внутри пахло влажными куртками, лекарствами и детскими сиропами. Очередь двигалась медленно. Перед ним женщина покупала капли, мазь, пластырь, витамины, потом вспом-

нила про градусник, потом про социальную карту сахалинца. Фармацевт за стеклом держалась с достоинством человека, который давно понял главное: смена закончится, а человечество — нет.

Артём достал телефон и открыл список.

Бабушкины лекарства были записаны дважды. Один раз — им. Второй — Поэтом.

Он писал коротко: «амлодипин 5 мг, лизиноприл, аспирин кардио, глицин».

Поэт добавлял: «спросить про совместимость с зелёными таблетками (бабушка называет их "маленькие гадины")».

Артём купил всё. Спросил про совместимость. Фармацевт объяснила подробно, терпеливо, будто он был первым за день, кто задал осмысленный вопрос. Может, так и было.

Он вышел из аптеки, убрал пакет в рюкзак и остановился под козырьком.

Было почти шесть.

Завтра — автобус в 8:00. Два часа до Холмска. Потом ещё с полчаса до посёлка.

Бабушка.

Он достал телефон. Экран — скобка. Набрал номер.

Бабушка ответила не сразу. Сначала шуршание, потом щелчок, потом дыхание — тяжёлое, но ровное, тёплое.

— Аллю.

— Ба, привет! Это я.

— Слышу, что не президент. Ты какой?

— Гитарист.

Пауза.

— Хорошо, — сказала Антонина Павловна. — А то Поэт в прошлый раз полчаса сидел над пирогом и смотрел на него так, будто подбирал рифму. А пирог стынет, пока он там вдохновляется.

— Он обидится.

— Я ему это уже говорила, не обиделся. Я его тоже люблю. Но горячий пирог важнее поэзии. Это тебе любая бабушка скажет.

Артём прислонился к стене аптеки. Дождь моросил перед ним тонкой сеткой. По тротуару шла женщина с зонтом в одной руке и пакетом из сетевого магазина в другой. Ветер дёрнул зонт. Она поправила. Пошла дальше.

— Лекарства купил, — сказал он.

— Все?

— Все. И про совместимость спросил. Зелёные можно с амлодипином, но не на голодный желудок.

— Вот. Это полезная информация. А не стихи.

— Ба.

— Что?

— Ты несправедлива к поэзии.

— Я справедлива к желудку. Завтра во сколько?

— Автобус в восемь утра. До одиннадцати буду, если дорога не подкинет сюрпризов.

— Пирог поставлю к десяти. С капустой или с яблоками?

— С капустой.

— А другой попросил бы с яблоками. Испеку оба.

Она помолчала. В трубке было слышно, как далеко, на другом конце острова, тикают часы. Старые, настенные, с маятником. Артём помнил этот звук с детства. Он был одинаковым в обоих мирах. Бабушкины часы и бабушкин голос — две вещи, которые не менялись.

— Тёма.

— Да, ба?

— У вас там всё ладно?

Простой вопрос.

Не «как дела». Не «как здоровье». Не «как работа».

«У вас всё ладно?»

У вас — значит, у обоих.

— Ладно, ба. Всё по-старому.

— По-старому — это хорошо, — сказала Антонина Павловна. — По-старому — это значит, стоит. Не трогай, что стоит.

— Не трогаю.

— И второму передай.

— Передам. Да ты и сама передашь. Может, это он к тебе завтра придет, а не я.

Она помолчала ещё секунду.

— Ну, зато ко мне, другой, приедешь ты. А мы с ней одинаковые. Ну всё. Жду. Не опаздывай. И не вздумай шоколад покупать, у меня от него давление.

— Я знаю.

— Знаешь, но покупаешь. Оба покупаете. Два одинаковых балбеса.

— Это называется любовь, ба.

— Это называется неспособность к обучению.

Она отключилась.

Артём убрал телефон.

Постоял под козырьком.

Дождь. Фонари. Машины шуршат по воде. Южно-Сахалинск уходил в вечер, придавленный низким небом. Сопки за крышами почти не различались — тёмная полоса на тёмном фоне.

Обычный вечер.

Обычная пятница.

По пути к дому заскочил в магазин, купил хлеба, крупы и банку тушёнки. Подумал и взял ещё бабушке плитку шоколада и фруктов.

Дома было тихо, темно и привычно. Холодильник гудел. Кран подкапывал. За стеной у соседей работал телевизор.

Артём сварил макароны, щедро заправил их разогретой на огне тушёнкой, нарезал последний живой помидор. Поел на кухне, стоя у окна. Вымыл тарелку. Протёр стол.

Потом прошёл в комнату.

Гитара стояла у шкафа в чехле.

Он сел на кровать, расстегнул молнию, достал гитару. Старая, лёгкая, с царапиной на деке — от той зимы, когда он уронил её на подлокотник кресла и потом два дня ненавидел себя.

Положил на колени. Левая рука привычно легла на гриф. Пальцы нашли лады сами — до мажор, потом ля минор, потом ми минор.

Три аккорда.

Негромко.

Вечерний звук.

Он не играл мелодий. Не разучивал песен. Просто перебирал струны — медленно, без цели, как перебирают чётки или камешки на берегу. Звук был тихий, тёплый, деревянный. Артём играл тихо-тихо, чтобы не слышали соседи.

Пальцы двигались сами.

Тело помнило.

Тело всегда помнило.

Но играл он только для себя. Для других — нельзя. Потому что Поэт на гитаре не играет.

Ему нравилось не то, как звучит музыка. Ему нравилось то, как она устроена. Лад — это координатная сетка. Струны — это параллельные линии. Аккорд — это точка, в которой

пересекаются правильные пальцы на правильных линиях в правильный момент. Гитара была единственным местом, где порядок звучал красиво.

Через пятнадцать минут он убрал гитару, застегнул чехол, прислонил к шкафу.

Сел за стол. Открыл ноутбук. Загрузка. Ожидание.

Мессенджер.

Артём Левин — Скобка.

Закрытый профиль. Серый силуэт. Одна переписка.

Он набрал:

«Привет, Я!

Пятница.

Утром побрился — но ты это уже наверняка оценил. Лене в Молнии утром позвонил, как ты и просил. Она смеялась, рассказала сон про поезд, в котором едем она и мы. Спросила меня, куда мы едем. Не трогай эту тему. Если всплывёт, пусть сама расскажет. Буклет сдал. Каталог в печати. ГП сказала «лучше» — дважды за день, фиксирую как историческое событие. Тебе же этого сегодня не досталось, хе-хе. Заметки твои прочитал, спасибо, ничего корректировать не пришлось. Женька звал на дачу, отказался, сослался, как всегда, на бабушку. Лекарства купил, в пакете на кухонном столе. Бабушка ждёт с пирогами. Велела передать, что горячий пирог важнее поэзии. Ход пока не сделал, думаю.

Гитарист.»

Отправил.

Длиннее обычного.

Но и день показался длиннее обычного.

Артём закрыл ноутбук.

За окном — дождь, темнота, фонари.

Где-то в другом мире, в той же квартире, другой Артём уже написал или ещё пишет свой отчёт. Про свою пятницу. Про шахматный ход, который, может быть, уже сделан.

Всё одинаково.

Всё на месте.

Артём выключил свет, лёг, натянул одеяло.

Тишина.

Дождь.

Пятница закончилась. Завтра — бабушка.

Он закрыл глаза.

Всё по канве.

Глава 3. Бабушка

Дверь открылась раньше, чем он успел постучать.

Антонина Павловна стояла на пороге в вязаной кофте и домашних брюках, в руке — полотенце. Из глубины дома тянуло теплом, сдобой и чем-то яблочным.

— Опоздал, — сказала бабушка.

— Автобус задержали.

— Автобус тут ни при чём. Ты медленно идёшь от остановки.

— Я шёл нормально.

— Ты шёл и смотрел на сопки. Всегда смотришь на сопки, как будто они куда-то денутся.

Артём улыбнулся. Бабушка была права.

Он действительно остановился на полпути — там, где грунтовая дорога поднимается на невысокий холм и посёлок открывается весь разом: десяток домов, огороды, заборы, тёмные стволы деревьев на склоне, а за ними — сопки, ещё зелёные, но уже с тем усталым оттенком, который появляется в конце лета. Дождь к полудню ослаб, и между тучами проступил кусок неба — не голубого, а белёсого, как вода после стирки.

Он стоял и смотрел.

Минуту.

Может, две.

Потому что здесь, в посёлке, в получасе от Холмска, в двух с половиной часах от Южно-Сахалинска, мир замедлялся. Не метафорически. Физически. Воздух был другой: тяжелее, гуще, с запахом мокрой земли и дыма. Звуки — другие: не гул дорог, а лай соседской собаки, скрип калитки, стук молотка где-то за домами. Здесь канва не натягивалась, а провисала мягкой петлёй.

Здесь можно было дышать.

— Ну? — сказала бабушка. — Заходить будешь или на пороге ночевать?

— Захожу.

Артём переступил порог, нагнулся и поцеловал её в макушку. Бабушка была невысокая — метр пятьдесят шесть, как она говорила: «Когда-то пятьдесят восемь, но два сантиметра забрала гравитация, а я не стала спорить».

— Ты какой? — спросила Антонина Павловна.

— Поэт.

— А, ну ладно. Яблочный пирог ещё горячий. Повезло тебе.

В другом мире — в том же посёлке, в том же доме, в ту же минуту — другой Артём стоял на том же пороге.

— Ты медленно идёшь от остановки, — сказала бабушка.

— Я смотрел на сопки.

— Я знаю. Вы оба смотрите. Ты какой?

— Гитарист.

— Пирог с капустой на столе. Давай, разувайся, натоптал.

Артём разулся. Куртку повесил на крючок у двери — единственный свободный, между бабушкиным пальто и клетчатым шарфом, который висел тут, кажется, с момента основания дома.

Прихожая была тесная. Обои — в мелкий цветочек, выцветший с одной стороны больше, чем с другой. Зеркало с местами осыпавшейся амальгамой. Коврик с надписью «Добро пожаловать», купленный в Холмске лет десять назад. Коврик врал: бабушка встречала гостей не добром, а инспекцией.

- Руки помой. Потом за стол.
- Ба, мне тридцать два.
- И что? Руки от этого чище стали?

Дом Антонины Павловны был старый, деревянный, с просевшим крыльцом и печкой, которая работала. Не для красоты и не для ностальгии — газа в посёлке не было, электричество стоило так, будто его добывали вручную, а дрова подвозил сосед Михалыч за символическую плату и банку варенья.

Кухня — маленькая, тёплая, пропахшая выпечкой и травяным чаем. Стол у окна, на нём — клеёнка с подсолнухами, две чашки, сахарница с отколотой крышкой и блюдо с пирогом. На стене — часы с маятником. Тикали ровно. Как всегда.

Артём-Поэт сидел за столом и ел яблочный пирог. Горячий. Начинка чуть кислила, тесто было рыхлое, мягкое, с хрустящей корочкой сверху. Бабушка сидела напротив и смотрела, как он ест.

В Мире-Скобке Артём-Гитарист сидел за тем же столом и ел пирог с капустой. Бабушка сидела напротив и смотрела, как он ест.

Обе бабушки молчали одинаково.

Это был ритуал. Первые десять минут — только пирог. Никаких разговоров, вопросов, жалоб, наставлений. Сначала — поест. Потом — всё остальное. Бабушка считала, что голодный человек принимает глупые решения, а на сытый желудок даже плохие новости перевариваются лучше.

Плохих новостей сегодня не было. Но порядок есть порядок.

— Ну, — сказала Антонина Павловна, когда от пирога осталась треть. — Рассказывай. Это «рассказывай» тоже было ритуалом.

Она не спрашивала «как дела», потому что «как дела» — вопрос для людей, которые не хотят знать ответ. Она говорила «рассказывай» — и это означало: всё. С начала. Не скрывая, не приукрашивая, не пропуская.

Адвокат и священник в одном лице.

С вязаным носком в руках.

— На работе нормально, — начал Артём-Поэт в Мире-Молнии. — Буклет сдал. Каталог ушёл в печать. Галина Петровна сказала «лучше».

— Это она тебе или ему?

— Ему, мы поменялись на самом интересном. Гитаристу досталась вся слава.

— Не ему, а вам обоим!

«Вам обоим».

Двадцать четыре года. И всё равно иногда забываешь.

— Лекарства привёз? — спросила бабушка в Мире-Скобке.

Гитарист достал из спортивной сумки пакет, поставил на стол.

— Всё по списку. Амлодипин, лизиноприл, аспирин, глицин. И про зелёные спросил.

— Про «маленьких гадин»?

— Фармацевт сказала: можно с амлодипином, но не на голодный желудок.

— Значит, после пирога.

— Да, после пирога.

Антонина Павловна взяла пакет, вытащила коробки, разложила на столе. Прочитала каждую надпись. Перевернула. Проверила срок годности. Сложила обратно.

— Спасибо, Тёма.

Потом добавила:

— Передай другой мне, чтобы за давлением следила. Если что — пусть не упрямится и не ждёт. В скорую звонит. И сразу таблетку. А то пока машина доедет...

— Ба, ты же знаешь, что у неё всё то же самое. Те же таблетки, то же давление.

— Знаю. Но напомнить — не мешает. Я себе тоже напоминаю.

Она сказала это без иронии.

Или почти без иронии.

С бабушкой никогда нельзя было сказать точно.

Часы тикали.

Маятник ходил — влево, вправо.

Бабушкины часы были одинаковыми в обоих мирах. Один и тот же ход. Одна и та же секунда. Артём слышал их с детства — с того лета, когда его забрала к себе бабушка. Правда, тогда они ещё жили в Александровске. Бабушка так и не смогла расстаться с этими часами.

Он тогда думал, что переехал к бабушке на время. Но оказалось, что навсегда.

Ему было восемь. Родителей не стало. Перевал, дождь, плохая дорога. Папа не справился. Или справился — но не до конца. Машина улетела в кювет. Мама умерла сразу. Папа — через час, по дороге в больницу.

Артёма вытащили из-под заднего сиденья. Синий рюкзак с нашитой ракетой был зажат у него в руках так, что спасатели не смогли разжать пальцы. Пришлось отнести его в скорую вместе с рюкзаком.

В рюкзаке что-то тихо звякало.

Бабушка забрала его из больницы через три недели.

Первые дни были мутными. Артём почти не говорил. Ел мало. Спал с включённым светом. Бабушка не давила. Кормила, стирала, заваривала чай, сидела рядом. Просто была. Как Лена сейчас. Только без смеха с выдохом. У бабушки было другое: тишина, которая не требовала ответа.

А потом начались странности.

Поэт помнил это по-своему.

Однажды утром — это был октябрь, листья на берёзе за окном уже пожелтели — он проснулся, потрогал ключицу и не нашёл шрама.

Паника. Тихая, детская, слишком большая для маленького тела.

Он позвал бабушку.

— Ба! Шрам! Его нет!

Антонина Павловна пришла, села на край кровати, посмотрела. Ключица — гладкая. Пальцы — на виске: тонкий рубец над ухом.

— У тебя же шрам над ухом, — сказала она.

— Но вчера он был на ключице!

Бабушка помолчала.

— Вчера, — повторила она. — На ключице?

Бабушка точно знала, что при аварии Артём получил не только серьёзное сотрясение мозга, но и травму головы — как раз над ухом. Других шрамов у Артёма не было.

— А что ещё было вчера? — бабушка задала вопрос как можно тише, стараясь не выдавать свою обеспокоенность.

Он рассказал. Про ужин: каша с молоком. Бабушка кивнула — каша была. Про книжку на ночь: «Незнайка на Луне». Бабушка кивнула — «Незнайка» был. Про то, как ему приснилась ерунда — про красный мяч, который он никак не мог поймать.

Потом она спросила:

— А позавчера?

Он задумался.

Позавчера он рисовал дом. Дом с трубой и дымом. Жёлтым карандашом.

— Дом, — сказал он. — Я рисовал дом.

Бабушка посмотрела на него спокойно.

— Ты уверен, Тёма? Позавчера мы с тобой ходили в магазин за крупой.

— Нет, ба. Я рисовал! — Артём бросился к столу, начал шелестеть альбомами, пытаясь найти свой рисунок.

Но рисунка не было.

Артём растерянно посмотрел на бабушку. Но та ответила спокойно:

— Я знаю, что ты рисовал. Но не здесь.

Она сказала это так просто, что он не сразу понял смысл.

— Как это — не здесь? А где?

— Я пока не знаю. Но я разберусь.

И она разобралась.

Не сразу. Не за день. Не за неделю.

Месяцы.

Антонина Павловна Левина не была ни учёной, ни экстрасенсом, ни психологом, ни человеком, который верит в чудеса. Она была женщиной, которая тридцать лет проработала фельдшером в сельской амбулатории, похоронила мужа, вырастила сына одна, пережила перестройку, два землетрясения и один тайфун. Она верила в здравый смысл, горячий чай, тёплые носки и в то, что любую проблему можно решить, если перестать паниковать и начать записывать.

И она начала записывать.

Завела тетрадку. Толстую, в клетку, с коричневой обложкой. На первой странице написала: «Тёма. Странности».

Каждый день — запись. Что Артём сказал. Что помнил. Что не помнил. Когда шрам для него на своём месте. Когда — на другом. Что ел, во что играл, что снилось. Когда капризничал. Когда был спокоен. Когда казался не совсем собой.

Через два месяца она увидела систему.

Шрам менялся. Точнее — не шрам, а то место, где его искал Артём. Не каждый день — иногда несколько раз за день, иногда ни разу. Тогда же менялись и воспоминания внука. Артём, ищущий шрам-молнию на ключице, помнил одно. Артём со шрамом-скобкой — другое. Но оба помнили бабушку, дом, кашу, «Незнайку». Совпадало почти всё. Расходилось — только то, что делал сам Артём.

Его слова. Его выбор. Его мелкие решения.

Сначала она думала: разберусь и пойму, как это исправить.

А потом поняла, что некоторые вещи лучше не понимать слишком быстро. На них лучше смотреть краем глаза.

А ещё позже пришло другое: исправить она не сможет.

Но зато сможет не дать никому чужому узнать о масштабе беды.

Антонина Павловна просидела над тетрадкой три вечера.

Потом приняла решение и сказала:

— Тёма. Тебя — двое.

Гитарист помнил тот разговор иначе.

Не слова — ощущение. Облегчение. Огромное, невозможное.

Потому что до того дня он думал, что сходит с ума.

Ему было восемь. У него погибли родители. Врачи говорили: стресс, травма, дезориентация. Школьный психолог рисовал схемы и просил «нарисовать семью». Учительница в первом классе написала в дневнике: «Мальчик рассеян, путает события, фантазирует».

А он не фантазировал.

Он просыпался — и мир был другим. Не совсем другим. Тот же дом. Та же бабушка. Та же комната. Но шрам — не там. И на полке стоит книжка, которую он не брал в библиотеке. И бабушка говорит: «Ты же вчера сам просил макароны на ужин», а он не просил, он просил кашу.

Мир был почти правильным.

Почти — и это «почти» сводило с ума.

А потом бабушка сказала: «Тёма. Тебя — двое».

И он заплакал.

Не от страха — от того, что кто-то наконец сказал это вслух. И стало сразу легче.

В Мире-Молнии Поэт допил чай и посмотрел на часы. Половина первого. Маятник ходил ровно.

— Ба, а ты ещё хранишь свою тетрадку?

— Коричневую? Конечно. Она до сих пор лежит в шкафу.

— Ты никогда мне её не показывала.

— А зачем? Ты и так всё помнишь. А чего не помнишь — помнит второй.

— Я не всё помню.

— Помнишь достаточно.

Антонина Павловна встала, подлила ему чаю. Из-под крышки заварочного чайника поднялся пар — чабрец, мята, что-то ещё, что бабушка добавляла и называла «от нервов».

— Помню, как ты придумала для нас дневник, — сказал он.

— Не дневник. Систему.

Она села обратно. Поправила кофту на плечах.

— Дневник — это когда пишешь для себя. А вам надо было писать друг для друга. Вы же не могли поговорить. Как один восьмилетний мальчик объяснит другому восьмилетнему мальчику, что он натворил вчера в его теле?

— Записками в карманах.

— Записками в карманах, — подтвердила бабушка. — Я помню, как ты пришёл из школы с запиской для другого себя: «Кто пообещал Пете мою машинку? Я не обещал! Значит, ты! Я не отдам, скажи Пете сам».

— Мне было девять.

— Тебе было девять, и ты путал «я» и «он», потому что оба были «я». Пришлось объяснять, что записки нужно писать не от третьего лица, а от первого. И подписывать.

— Тогда мы ещё не были Поэтом и Гитаристом.

— Тогда вы были «Я-с-молнией» и «Я-со-скобкой». Потом стали «Первый» и «Второй». Потом поругались, потому что никто не хотел быть Вторым.

— А потом ты нас помирила.

— Я вас не помирила. Я сказала: «Пока будете дураками — будете Первый и Второй. Станете умнее — придумаете нормальные имена». И вы придумали.

Она сказала это с удовольствием.

Бабушка любила вспоминать свои победы.

В Мире-Скобке Гитарист смотрел в окно.

За стеклом — тот же посёлок, тот же дождь, те же ели на склоне. Собака у соседского забора стояла и смотрела на калитку с выражением философского терпения.

— Ба.

— Что?

— Ты когда-нибудь жалела, что не отвела меня к врачу?

Антонина Павловна перестала вязать.

Она вязала носок — серый, грубоватый, с тем особенным натяжением нити, которое означало, что носок переживёт своего владельца. Спицы замерли.

— Жалела?

— Ну да. Может, врачи бы что-то...

— Что? — перебила она. — Что бы они сделали? Положили бы тебя в палату и изучали? Или дали бы таблетки, от которых ты стал бы тихий и удобный, но перестал бы быть собой?

— Может, нашли бы объяснение.

— Объяснение — это когда врач знает, что делать. А когда не знает — это называется диагноз. А после диагноза — учреждение. Закрытое. С решётками на окнах и добрыми тётьками, которые дают таблетки три раза в день.

Она замолчала.

Потом взяла спицы обратно.

— Я тебя не для того из-под машины забрала, чтобы отдать людям в белых халатах.

— Ты забрала меня из больницы, ба. Не из-под машины.

— Какая разница. Из одних рук в другие, а дальше — в мои. И в моих — останешься.

Нитка натянулась. Спицы застучали.

— В обоих мирах, — добавила она.

Записки в карманах стали дневниками в тетрадках. Тетрадки — записями в телефоне. Телефон — мессенджером с закрытым профилем.

Система росла, как дерево: от тонкого ствола — к ветвям, от ветвей — к листьям, от листьев — к тени, которая накрывала всю их жизнь.

Правила появлялись не сразу.

Каждое правило стоило ошибки.

Поэт помнил первую серьёзную. Ему было десять. В школе задали пересказ. Было два варианта, и распределялись они, как всегда, по местам за партами. Он в тот день пересел на место соседки Вальки, которая заболела. Оттуда можно было глядеть в окно.

И ему достался первый вариант рассказа. Он подготовился — честно, вечером, прочитал рассказ два раза, выписал план. Утром проснулся, потрогал ключицу — гладко. Мир за ночь сменился. Не его подготовка. А пересказ — через три часа.

Он пошёл в школу и пересказал. Плохо. На тройку. Потому что читал другой рассказ. Потому что другой он накануне сидел за партой на своём месте.

Тройку в результате заработали оба. В обоих мирах.

Дома второй Артём оставил записку: «Ты получил три по литературе. Исправляй».

Следующая записка, уже от него: «Я просто пересел на уроке. Откуда мне было знать, что миры поменяются?»

Ответ: «А откуда мне знать, что ты сменил вариант? Я-то подготовился правильно!»

Бабушка прочитала их переписку. Посидела молча. Потом сказала:

— Значит, так: уроки делаете оба. Всегда. Даже если что-то поменяется в одном из миров — делаете сразу за оба мира! Проверяйте. Перед школой — открыли тетрадь, посмотрели, что задано. Не помните — спросите у одноклассника. Но не стойте посреди класса с открытым ртом.

Так появилось правило: проверяй контекст, прежде чем действовать.

Потом была история с Димкой Савельевым. Одному Артёму — тому, в ком тогда сидел Гитарист, — Димка нравился. Они вместе собирали модели самолётов. А другой Артём, с Поэтом внутри, однажды Димке нагрубил, и они поссорились.

На следующий день Гитарист проснулся в Димкином мире — и Димка с ним не разговаривал.

Записка вечером: «Что ты сказал Савельеву?!»

Ответ: «Он первый начал».

«Мне плевать, кто начал! Он мне друг!»

«Он и мне друг. Но он обозвал меня».

«Он обозвал тебя, а я потерял друга. В моём мире — тоже, потому что он теперь и тут со мной не разговаривает. Потому что ты то же самое сказал ему и тут!»

Бабушка прочитала переписку. Вздохнула. Достала из шкафа конфеты — «Мишка косолапый». Положила перед ним.

— Конфеты — Савельеву. Извинитесь. Оба.

— Но он первый...

— Тёма. Он — один в обоих мирах. А вас — двое. И если один из вас испортил отношения, второй живёт с последствиями. Всегда. В обоих мирах. Поэтому правило простое: не ссорьтесь. Ни с кем. Никогда. Если можно не ссориться — не ссорьтесь.

— А если нельзя?

— Тогда ссорьтесь одинаково. Чтобы хотя бы последствия совпали.

Так появилось второе правило.

Потом — третье. Четвёртое. Пятое.

Не обещай того, что не сможет выполнить другой.

Не покупай ничего дорогого без согласования.

Не меняй маршрут.

Не начинай разговоров, которые не сможешь закончить.

Не говори «люблю».

Последнее правило появилось в девятом классе, когда первая девушка — Катя Мельникова из параллельного класса — сказала Поэту, что он ей нравится, и Поэт ответил «ты мне тоже», а на следующий день Гитарист в её мире прошёл мимо, не поздоровавшись, потому что он такого не говорил.

Катя проплакала два дня.

Гитарист принял правила сразу. Поэт — только когда понял, что одна чужая обида в их жизни никогда не бывает одной.

Правила множились. Обрастали исключениями. Исключения — уточнениями. Жизнь превращалась в инструкцию по выживанию, написанную двумя людьми, которые жили в одном теле по очереди и пытались не сломать друг другу мир.

Канва.

Они не сразу нашли это слово.

Сначала говорили «правила». Потом — «система». Потом — «рамка».

«Канву» предложил Поэт, когда ему было двадцать два. Он тогда прочитал книгу о вышивке — не потому, что интересовался, а потому, что книга лежала в корректорской и он от скуки пролистал первые страницы.

Канва — это основа, по которой вышивают. Она не видна в готовой работе. Но без неё ткань расплзается.

Гитарист прочитал запись: «Предлагаю называть нашу систему "канвой". Нравится?»

Ответ через день: «Нормально. Главное, чтобы не расплзлась».

С тех пор — канва.

Не ломать. Не рвать. Не тянуть в стороны.

Жить по ней.

— Ещё чаю? — спросила бабушка в Мире-Молнии.

— Давай.

Она налила. Пар поднялся от чашки, мятный, тёплый.

— Как Лена? — спросила Антонина Павловна.

Просто.

Как спрашивают о погоде.

Но Поэт знал, что ни один вопрос бабушки не бывает простым.

— Всё хорошо, — сказал он. — Работает. Дежурит.

— Хорошо — это не ответ.

— Хорошо — это значит, всё по канве. Я ей звоню. Он ей звонит. Она не замечает.

— А ты?

— Что — я?

— Ты замечаешь?

Поэт посмотрел в чашку. Чай был тёмный, с плавающим листком мяты.

— Иногда, — сказал он. — Вчера она рассказала Гитаристу про свой сон, в котором мы вместе с ней куда-то едем на поезде. И она меня, то есть его, спрашивает: куда мы едем? Я не знаю, как он ей ответил. Иногда она говорит что-то, и я понимаю, что это ответ на его слова. Не на мои. Он пошутил — она вспоминает и смеётся. А я не знаю, над чем. Или она говорит «ты вчера был какой-то...» — и замолкает. Потому что вчера был не я.

— И что ты делаешь?

— Улыбаюсь.

— И?

— И меняю тему.

Бабушка покачала головой.

— Тёма.

— Что?

— Долго вы так не протянете.

— Год и два месяца уже протянули.

— Это не «протянули». Это «дотянули». Разница есть. Близость уже была?

— Ба! — смущённо одёрнул её Поэт.

Близости у них ещё не было. И не только канва мешала.

Каждый раз, когда всё шло к тому, чтобы остаться, — что-то встревало. То её срочно вызывали на смену. То он сам вдруг деревенел, находил повод уйти. Будто кто-то раз за разом разводил их в последнюю секунду.

Артём привык считать это своей нескладностью.

Бабушка поставила чашку на стол. Спицы лежали рядом, носок был связан наполовину.

— Лена — хорошая девушка, — сказала Антонина Павловна. — Обе хорошие. Я видела её глаза, на той фотографии в телефоне, что ты показывал. С такими глазами не на минуту приходят. Она нежная, терпеливая. Но терпение — это не вечный ресурс. И рано или поздно она спросит. Не «куда мы едем», а «кто ты». Не словами — а тем, как посмотрит. И вам придётся ответить.

— Мы не сможем ответить.

— Да, не сможете. Но вопрос от этого не исчезнет.

В Мире-Скобке Гитарист стоял у окна и смотрел на собаку за забором.

— Она хочет познакомить нас с родителями, — продолжал он начатый разговор.

Бабушка не ответила. Она вязала.

— Поездка в Оху, — Артём нахмурился. — Тысяча километров. Двое суток минимум. Ночёвка у её родителей.

— И?

— И это значит, что кто-то из нас поедет один. А потом второй окажется в Охе, в чужом доме, с людьми, которых он видит первый раз.

— Второй тоже может поехать. В своём мире. Это и есть канва, разве нет?

— А если не поедет?

— Тёма, ты сейчас его имеешь в виду или себя?

Гитарист промолчал.

Бабушка отложила вязание.

— Ты её любишь?

Гитарист посмотрел на неё.

— Ба, мы оба её любим.

— Обе её? Какую из них?

— Обеих. Ба, она — одна и та же. Одинаковая.

— Одинаковая, — повторила бабушка. — Пока одинаковая. Что будет, когда один из вас скажет ей что-то не то? Или сделает что-то по-своему? Или решит, что именно его Лена — настоящая, а другая — нет? Вы начнёте спорить. Не из-за работы, не из-за шахмат, не из-за продуктов в холодильниках. Из-за неё. И это разорвёт канву быстрее, чем что бы то ни было.

Гитарист молчал.

— Я не против Лены, — сказала бабушка тише. — Я против того, что вы не думаете наперёд. Вы живёте так, будто завтра будет таким же, как сегодня. А завтра она скажет: «Давай жить вместе».

Гитарист молчал.

— И что тогда?

— Тогда мы оба скажем «да».

— А если один из вас скажет «да» раньше другого? Или скажет не так? Или не скажет? А вдруг спросит только одна из них?

Тишина.

Часы тикали.

— Я даже не могу себе представить, как вы будете разбираться со всем этим, — сказала Антонина Павловна. — Вы всю жизнь жили аккуратно. Осторожно. По канве. Это стоило вам многого. Но канва держалась, потому что вы оба хотели одного: не навредить. Себе, окружающим, миру. И вот произошло то, чего я опасалась с самого начала. Появился человек, ради которого вы оба однажды нарушите канву. И если он однажды станет для одного из вас важнее, чем для другого...

Она не закончила.

Не нужно было.

После чая Поэт прошёл в маленькую комнату, в которой всегда ночевал, когда задерживался у бабушки.

Кровать. Тумбочка. Коврик на полу с выцветшим рисунком — медведь с мячом. Этот коврик бабушка тоже привезла с собой из Александровска. Раньше он лежал на полу в его детской.

В углу, на полке за стопкой старых журналов, стоял рюкзак.

Маленький. Синий. С нашитой ракетой.

Артём достал его. Сел на кровать.

Рюкзак был лёгкий. Ткань — выцветшая, местами потёртая до белизны, но целая. Ракета на кармашке — с обшарпанным носом и оплавленным нижним краем, будто и правда летала. Молния — старая, тугая, но рабочая. Он потянул за собачку — медленно, как открывают шка-тулки в тихих комнатах.

Внутри лежало немного.

Стеклянные шарики — четыре штуки, разноцветные, с воздушными пузырьками внутри. Из тех, которыми он играл в детстве, стучая их друг о друга на полу. Они тихо звякнули, когда рюкзак качнулся на его коленях.

Тонко. Стеклянно. Как маленькие колокольчики.

Компас — маленький, латунный, с треснувшим стеклом. Стрелка давно не двигалась. Артём щёлкнул по корпусу ногтем — стрелка не шевельнулась. Не работал с той ночи на перевале. Наверное, повредился при аварии.

Складной ножик — детский, с красной пластмассовой ручкой, с одним лезвием, которое не складывалось обратно до конца. Артём носил ножик в рюкзаке, хотя ни разу ничего им не отрезал.

И на самом дне — плоский металлический диск, размером с ладонь, не больше. Тёмный, тяжёлый, чуть тёплый на ощупь, хотя лежал в холодном рюкзаке. Без надписей. Без рисунка. Просто гладкий диск.

Артём повертел его в пальцах.

Он всегда вертел его, когда приезжал к бабушке. Доставал рюкзак, перебирал содержимое, держал в руках шарики, щёлкал по компасу, вертел диск. Не ритуал. Скорее привычка, которая со временем стала чем-то большим, чем привычка, но меньшим, чем осознанное действие.

Просто делал так.

Каждый раз.

Он положил всё обратно, застегнул молнию и вернул рюкзак на полку.

В Мире-Скобке Гитарист мыл посуду.

— Тёма, оставь, я сама, — сказала бабушка из комнаты.

— Я уже мою.

— Ты моешь слишком горячей водой. Чашки лопнут.

— Они переживут.

— Они пережили переезд в этот дом десять лет назад. Не хочу, чтобы их убил мой собственный внук.

Он убавил воду.

Бабушкина посуда: три тарелки, две чашки, сахарница, блюдце для варенья. Вся с трещинами, сколами, мелкими отметинами времени. Каждая — на месте. Каждая — живая. Менять их бабушка отказывалась.

«Они помнят, — говорила она. — Зачем выбрасывать то, что помнит?»

Артём вытер руки, повесил полотенце на крючок и прошёл в детскую.

Рюкзак.

Синий. С ракетой.

Он достал его. Сел на кровать.

Те же шарики. Тот же звон — тихий, стеклянный. Тот же компас с мёртвой стрелкой. Тот же ножик. Тот же диск — тёмный, гладкий, чуть тёплый.

Он подержал круглую пластину в руке.

Несколько секунд.

Потом положил обратно, застегнул молнию, вернул рюкзак на полку.

— Расскажи мне, какое у второй меня давление, — сказала бабушка в Мире-Молнии, когда Поэт вернулся на кухню.

— Ба, у неё такое же, как у тебя. Вы одинаковые.

— Я знаю, что одинаковые. Но мне приятно спросить. Может, у неё лучше.

— Не лучше.

— Жаль. А коленка?

— Болит.

— У меня тоже. Значит, и правда одинаковые.

Она сказала это с лёгкой улыбкой. Передавать новости самой себе ей нравилось. Это была игра — не для пользы, а для ощущения, что где-то есть ещё одна Антонина Павловна, которая точно так же сидит на этой кухне, вяжет носок, ворчит на внука и ждёт новостей о себе самой.

— Передай ей, — сказала бабушка, — что яблоки в этом году кислые. Пусть добавляет больше сахара в пирог.

— Ба, у неё такие же яблоки.

— Тогда пусть тоже добавляет.

— Я передам.

— И пусть не забывает мазать колено на ночь.

— Передам.

— И пусть не переживает. Мы справимся.

Артём посмотрел на неё.

«Мы» — это не она и он.

«Мы» — это обе бабушки и оба Артёма.

Четыре человека в двух мирах.

Семья.

Было около четырёх вечера.

Дождь за окном ослаб до почти невидимой мороси. Свет стал мягче — послеобеденный, осенний, с тем сахалинским оттенком серого, который нигде больше не встречается. Сопки за посёлком потемнели.

В Мире-Молнии Поэт сидел на диване в гостиной и читал. Бабушка дремала в кресле напротив, с вязанием на коленях. Спицы съехали набок. Носок — серый, грубоватый, связанный на треть — лежал рядом, как маленький спящий зверёк.

Часы тикали.

В Мире-Скобке Гитарист сидел на том же диване и перебирал бабушкино радио. Старое, транзисторное, из тех, которые ловят три станции и все три с помехами. Он крутил колёсико — шипение, обрывок музыки, чьё-то бормотание, снова шипение.

— Выключи, — сказала бабушка из кресла. — Голова от него болит.

— Ты же сама его слушаешь.

— Слушаю, когда одна. А когда ты тут — мне радио не нужно.

Он выключил.

Тишина.

Часы. Маятник. Дождь.

Потом — звон.

Тихий.

Далёкий.

Маленькие стеклянные колокольчики.

Мизинец правой руки дёрнулся.

Раз.

Артём в Мире-Молнии положил книгу на диван. Медленно. Аккуратно.

Артём в Мире-Скобке поставил радио на тумбочку. Тоже медленно.

Оба посмотрели на бабушку.

Обе бабушки не спали.

Обе смотрели на внука.

Антонина Павловна в Мире-Молнии чуть наклонила голову.

— Сейчас? — спросила она.
Звон стал выше.
Мизинец дёрнулся второй раз.
— Да, — сказал Поэт.
— Да, — сказал Гитарист.
Бабушка в Мире-Молнии кивнула.
— Ну иди. Я подожду.
Бабушка в Мире-Скобке сказала:
— Сиди ровно. Не дёргайся. Я тут.
Третья секунда.
Четвёртая.
Артём закрыл глаза.
Сдвиг — мягкий, почти нежный.
Пластина вышла. Пластина вошла.
Артём открыл глаза.
Та же комната. То же кресло. Те же часы.
Но бабушка смотрела на него иначе.
Не хуже. Не лучше. Просто — на другого.
— Ну? — сказала Антонина Павловна в Мире-Молнии. — Ты какой?
Рука к виску. Над ухом — гладко. К ключице. Рубец.
Молния. Тело-Молния.
Он достал телефон. Экран — молния.
— Гитарист, — сказал он.
Бабушка кивнула.
— Добро пожаловать. Чай будешь?

В Мире-Скобке бабушка тоже смотрела.
Артём потрогал висок. Рубец над ухом. Скобка. Тело-Скобка.
Телефон — скобка.
— Поэт, — сказал он.
— Знаю, — сказала Антонина Павловна. — По глазам вижу.
— Ты не можешь видеть по глазам, ба.
— Могу. У Гитариста взгляд быстрый, он сразу по комнате шарит — что изменилось, что не так. А ты сначала на меня смотришь.
— Неправда.
— Правда. Двадцать четыре года смотрю, Тёма. Научилась.
Поэт улыбнулся.
Бабушка в Мире-Скобке встала, поправила кофту, подошла к плите.
— Чай будешь?
— Буду.
— Пирог с яблоками на столе. Остыл, правда, уже.
— Я уже ел.
— Это ты другой ел. Мой пирог вкуснее.
Поэт улыбнулся и отрезал себе кусок пирога.
Бабушка стояла у плиты, жарила картошку на ужин и тихо, почти беззвучно, улыбалась.
Потому что вот он — её внук. Другой, но тот же. Не чужой, свой. Пришёл откуда-то, куда она не может заглянуть, сел за стол и ест её пирог.
И это — нормально.
Это их «нормально».

Часы тикали.

Маятник качался — влево, вправо.

Ровно.

Ровно.

Ровно.

Глава 4. Хорошо, что ты у меня есть

Воскресное утро разбудило Артёма лаем собак и запахом молочной каши. Он любил просыпаться в бабушкином доме. Обычно такие утра дарили умиротворение и уверенность в том, что день пройдет очень хорошо.

Быстрая проверка — шрам, телефон. Всё прежнее. Значит, ночью скольжения не было.

Встав и наскоро позавтракав вкуснейшей кашей на свете, Артём быстро собрался в дорогу.

Бабушкина калитка скрипнула — тихо и грустно, как и в прошлые его приезды. Артём поправил сумку на плече, но уходить не спешил. Каждый раз, когда он уезжал от бабушки, в сердце что-то ёкало. Словно боялся уйти оттуда, где можно быть таким, какой он есть, — не думая о канве, не боясь волны, которую нельзя будет погасить, не держа в голове всё, что говорить можно, а что нельзя.

Хотя, конечно же, боялся.

Антонина Павловна вышла следом. В руках — холщовая сумка. Внутри банка варенья, два куса пирога — с яблоками и с капустой, завернутые в фольгу. И носки. Носки она вязала всем, кто задерживался в её доме дольше чем на полдня. Считала, что человек с холодными ногами не способен принимать правильные решения.

Она спустилась с крыльца и подошла к калитке.

— Ты не торопись, — сказала она. — Автобус не уйдёт. Сегодня до Холмска Михалыч везёт, подождёт. Он знает, что ты у меня. Я ему вчера варенья вечером отнесла.

— Ба, я и так не тороплюсь.

— Торопишься. Я вижу.

Она подержала его за рукав куртки — несильно, двумя пальцами, как держат за угол страницы, чтобы не потерять место. Артём-Поэт чуть наклонил голову влево.

— Тёма.

— Да?

— Вы думайте. Не откладывайте слишком долго.

Она не сказала «про Лену». Не нужно было. Он и так понял, о чём она.

Они оба поняли.

Поэт кивнул.

Бабушка отпустила рукав, тыльной стороной ладони провела по его щеке — мимоходом, будто проверяла температуру у ребёнка, — и сказала:

— Иди. Михалычу привет.

Гитарист обнял бабушку. Она тоже обняла его — крепко. И не отпускала ещё несколько секунд.

Он почувствовал, как у неё чуть подрагивает спина под ладонью.

Потом она отстранилась, поправила ему воротник куртки — деловито, как поправляют салфетку на праздничном столе, — и сказала:

— Михалычу передай, чтобы не гнал сильно. Дорога после дождя рваная.

— Передам.

— Иди.

Он пошёл. Подбородок чуть выше обычного — он всегда так шёл, когда волновался.

На повороте дороги обернулся. Бабушка стояла на крыльце, держалась за деревянные перила. Она заметила, что он обернулся, махнула рукой — коротко, без широты, как машут не на прощание, а что, мол, всё хорошо, ступай.

Автобус был полупустой.

Поэт пообщался с водителем — Михалычем — улыбчивым худосочным мужичком, передал ему привет и совет от бабушки и занял место у окна — то самое, какое они с другим Артёмом занимали всегда. Примостил сумку на колени и прислонился головой к окну.

Стекло холодило кожу, дрожало мелко на каждой кочке, отдавая в висок. За окном тянулись сопки — те же, что и вчера, только теперь повёрнутые другой стороной.

К Холмску небо начало светлеть. Сначала тонкая полоса вдоль гребня — серебристая, почти серая. Потом в этой полосе появилась одна прореха. Потом — другая.

А когда, пересев в Холмске на другой автобус, Поэт уже ехал в Южно-Сахалинск, серое небо порвалось окончательно, и на сопки лёг первый за эти дни солнечный свет: резкий, золотой, какой бывает только после долгого дождя, когда воздух промыт и каждая капля на деревьях играет, как маленькая линза.

Он смотрел в окно и не сразу узнал собственный мир. Как человек, который вдруг снял тёмные очки.

Сахалин под солнцем — это другой Сахалин. Яркий, красивый, живой.

Проезжая Холмский перевал, Поэт вспомнил о другом перевале. О том, что между Александровском и Тымовским. О том, где двадцать четыре года назад всё и произошло.

Он закрыл глаза.

«Папа, влево!»

Он закричал тогда. Он знал, что закричал. Он помнил это телом — холод в груди, сухость в горле, маленькие пальцы, вцепившиеся в синий рюкзак с нашитой ракетой.

Второй — Гитарист — тогда не закричал. Он молчал, испуганно закрыв глаза и ухватившись руками за свой детский рюкзачок.

Они никогда не обсуждали напрямую, кто из них тогда поступил правильно. Это было одно из правил, которое не записано в дневник. Не потому что кто-то оказался смелее или наоборот. А потому что оба понимали: нет никакой разницы. Машина всё равно ушла в обрыв.

Каждый из них втайне думал, что поступи он сам иначе — всё могло бы быть по-другому. Кто закричал — хотел вернуться обратно и промолчать. Кто промолчал — вернуться и закричать. И каждый знал, что и другой так думает. Но молчит об этом. И это было одним из тех моментов, в котором они полностью доверяли друг другу.

Поэт почувствовал звон раньше, чем услышал.

Не громко. Не страшно. В автобусе на семидесяти километрах в час, под шум двигателя и шорох колёс — почти незаметно. Как маленькие стеклянные колокольчики где-то далеко за стеклом.

Мизинец правой руки дёрнулся.

Он не открыл глаза.

Прижался плотнее к стеклу. Рюкзак на коленях, голова прислонена, окно холодное. Поза человека, который дремлет в дороге. Лучшая поза для скольжения. Никто из попутчиков не замечает, никто не подсаживается, никто не спрашивает «вам плохо?».

Два звонка. Три.

Сдвиг.

Мягкий, как соскользнувший лист.

Он открыл глаза.

Сопки — те же. Стекло — то же. Рюкзак — на коленях. Солнце — то же.

Левая рука сама, без команды, скользнула под куртку к ключице. Под пальцами — тонкий рубец.

Молния.

Он достал телефон. Экран — тёмное небо, белая ломаная линия.

Открыл мессенджер. Артём Левин — Молния. Последнее сообщение — вчера, поздно вечером. Написал его Гитарист, когда был в этом теле, в этом мире, перед тем как лечь спать у бабушки:

«Привет, Я!

Завтра у нас с тобой — Лена. Не забыл? Всё, как и договаривались. 15:00, парк, кафе "Маяк". К 19:00 — провожаем. Такси для неё и обратное для себя — обязательно. Помни о правилах! Бабушка вечером опять про Лену говорила. Не давила, но смотрит и ждёт нашего решения. После встречи с Леной обдумаем и обсудим. Не импровизируй!

Гитарист.»

Поэт прочитал, кивнул сам себе.

«Помни о правилах. Не импровизируй».

Гитарист всегда писал это так, будто Поэт способен на импровизацию.

Но это было, по совести говоря, правдой.

Поэт подержал телефон в руке, усмехнулся. Вчера вечером он написал что-то подобное и Гитаристу. Забавно.

Вспомнилось, как они поначалу злились на молчание друг друга. Бесились, что нельзя написать и тут же получить ответ. А так хотелось ответить сразу — на упрёк, на шутку, на «ты что наделал». Но мессенджер не пробивал стену между мирами. Слова шли в одну сторону — внутрь своей цифровой кладовой, до следующего скольжения.

Их диалоги были отложены во времени. Поначалу пространные и эмоциональные, они вскоре стали лаконичнее, информативнее. Обиды и обвинения сошли на нет. Но от иронии и поддёвок друг друга они так и не отказались.

Поэт снова улыбнулся. Следующее сообщение от Гитариста он прочитает только тогда, когда мир качнётся снова и он окажется в Скобке. А до тех пор — у каждого из них свой автобус, свой день, своя Лена.

Дома он был уже в час.

Убрал бабушкины пироги в холодильник — на ужин, а если останется, то и на завтрак.

Принял душ, побрился, брызнул на щёки и растер кожу одеколоном, сменил белье.

Чёрная шёлковая рубашка, застёгнутая на все пуговицы, как он любил. Тёмные джинсы. Серый пиджак — их единственный парадно-выходной пиджак, одинаковый на оба мира. В коридоре, перед зеркалом, сунул руки в карманы — за полами, как привык. Посмотрел на себя ещё раз. Смотрелось неплохо.

В четырнадцать двадцать заказал такси до парка и вышел из дома.

Кафе «Маяк» стояло на территории парка, в противоположной стороне от центрального входа. Стилизованное под настоящий маяк серое здание с большими окнами и открытой верандой, на которой летом выставили круглые столики и чёрные плетёные кресла.

Артём подошёл к стойке без пятнадцати три. Сделал заказ.

— Пульгоги и топпокки средне-острые. Один кофе сейчас, второй — через десять минут, капучино.

Он сел за свободный столик, снял пиджак, повесил на спинку кресла. Положил телефон экраном вниз. Огляделся.

За соседним столиком сидела пара — мужчина средних лет с проседью, женщина с собранными волосами. Они ели одно блюдо на двоих и тихо переговаривались.

У окна напротив, на высоких стульях — молодая девушка с парнем, оба в одинаковых тёмных свитшотах. Парочка держалась за руки прямо поверх стола, не пряча.

За столиком на веранде — компания молодых людей. Что-то празднуют.

Поэт посмотрел сквозь окно в сторону аллеи, словно что-то почувствовал.

Лена.

Она быстро поднялась по ступенькам, пересекла веранду и вошла в кафе так, как всегда входила в любое помещение, — будто внесла с собой сразу весь мир.

Куртку сняла ещё на улице — перекинула через руку. На ней было лёгкое платье в тонкую тёмно-синюю полоску, до колена, с короткими рукавами. Поверх платья — лёгкая безрукавка с круглым вырезом. По-сахалински: солнце есть, но если задует дальневосточный ветер — задует одинаково и в августе, и в октябре. На ногах — белые кеды, новые, ещё не успевшие потерять форму.

Волосы у Лены были тёмно-русые, густые, до лопаток. Сегодня распущенные — и на солнце в них проступал медный отлив, которого не видно при лампе.

Лицо было из тех, что не запоминаются с первого взгляда. А со второго — уже хочется смотреть.

Глаза серо-зелёные: больше серые, если устала, больше зелёные, если смеётся. Сегодня — зелёные. Значит, утро удалось.

На правой щеке, ближе к уху, — крошечный шрам от ветрянки, единственная неровность, от которой лицо становилось только живее.

Руки тонкие, ногти коротко стрижены, без лака. На левом запястье — кожаный шнурок с маленькой деревянной бусиной, выцветший до серого. Подарок кого-то из её маленьких пациентов.

Она увидела Артёма ещё от двери и улыбнулась — той улыбкой, что всегда начиналась с глаз: уголки чуть приподнимались, потом подключались губы, потом — лёгкий выдох. У Лены всё в лице начиналось с глаз. Губы только подтверждали то, что глаза уже сказали.

Подошла, бросила куртку на спинку соседнего кресла. Села напротив. Тряхнула волосами, провела пальцами от макушки к затылку, скорчив виноватую мордашку, выдохнула:

— Я опоздала, прости.

— Десять минут.

— Значит, не опоздала. Это норма.

— Пациентам ты говоришь то же самое?

Поэт вовсе не отчитывал Лену. Это была их давняя игра — обмениваться лёгкими безобидными колкостями насчёт профессиональной деятельности друг друга.

— Отложенный укол в попу для них только в радость, — парировала Лена.

— А десять минут ожидания экзекуции не в счёт? — хитро прищурился Поэт. — Бедные дети...

— Левин, ты опасный человек! — с наигранным ужасом воскликнула Лена.

— Я корректор. Это болезнь.

— Тогда считай, что к тебе пришёл персональный корректолог!

— К процедурам готов! У тебя шприц Жане с собой?

Она засмеялась. Тем самым смехом с выдохом. Хороший звук. Его звук.

Он заметил, как её смех рифмуется с бликами солнца на поверхности столика — для него это была единственная живая строчка в скучном, выверенном тексте его существования.

Принесли капучино. Лена обхватила чашку обеими ладонями, как обхватывают грелку зимой, сделала глоток и вопросительно посмотрела на Поэта.

— Как там бабушка?

— Печёт пироги. Ворчит. Даёт советы. Всё, как всегда. Тебе привет передавала.

— Спасибо. Она у тебя хорошая.

— Я знаю.

Лена посмотрела поверх его плеча — на соседний столик, на пожилую пару. Мужчина что-то говорил, женщина смеялась, и смех у неё был похож на Ленин, только постарше — без выдоха, ровнее, отточенный за годы.

Лена смотрела на них недолго. Секунду, две. Потом перевела взгляд на молодых у окна. И только потом — обратно на Поэта.

Поэт это заметил.

— У меня в четверг была удивительная смена, — сказала Лена. — Знаешь, кто к нам поступил?

— Кто?

— Близнецы. Семь лет, мальчики. Один с горки скатился во дворе и шишку набил на лбу справа. А второй в это время дома телевизор смотрел. Через час встал — и тоже шишка. На лбу. Только слева. Прямо как под копирку, только наоборот.

Поэт чуть наклонил голову влево.

— Как такое возможно? Или второй тоже ударился?

— В том-то и дело, что не ударился! Просто сама по себе шишка появилась. Мама плакала, объясняла нам минут двадцать, что никто в семье детей не бьёт. Я её успокоила. Случай, конечно, не совсем медицинский, но в медучилище нам о подобном рассказывали. У близнецов такое бывает.

— Забавно.

Он сказал это ровно. Двумя руками поднял чашку, сделал медленный глоток.

«У близнецов так бывает».

В голове, помимо его воли, поехала киноплёнка.

Ветрянка в одно время, когда им было по одиннадцать лет — в обоих мирах. Сломанный мизинец на левой руке в пятнадцать: Поэт упал с велосипеда, а Гитарист в этот же день неловко закрыл тяжёлую дверь в сарае, куда ставил такой же велосипед после катания. Мизинец один и тот же. Левый. Аппендицит в двадцать три, в один и тот же день — одинаковый неровный послеоперационный шов.

Бабушка говорила тогда: «У вас не только сознания общие. У вас тела с одного станка».

— Они у нас лежали до субботы, — продолжала Лена. — Спать отказались на разных кроватях. Лежали валетом. Один спит — другой свою шишку на лбу пальцем шупает и хмурится. Я смотрела на них и думала: интересно, кто из них чувствует чужое сильнее.

— Забавно, — повторил Поэт.

Он сам услышал, как слово треснуло.

Лена посмотрела на него внимательно. Не подозрительно — внимательно. Так смотрят на ребёнка, который тихо сказал «у меня живот не болит».

— Левин.

— Что?

— Ты на работу как ходишь — пешком или на автобусе?

— Пешком.

— Хорошо. У нас по городу сейчас вирус ходит. Маринкин муж уже три дня лежит.

— Я переживу. Я устойчивый.

— Ты не устойчивый. Ты упрямый.

— Ну, у меня же есть ты? Если что — вылечишь.

Лена утвердительно кивнула и опять улыбнулась.

Они немного помолчали. За окном по аллее проходили воскресные люди — медленно, неровно. Кто-то только входил в парк, а кто-то уже покидал его. На большой поляне напротив кафе несколько детей перебрасывали друг другу большой резиновый мяч.

Принесли заказ. От топокки над столом поднялся тёплый острый пар. Лена попробовала, подняла брови:

— Левин. Как ты угадал, что мне это понравится? Это просто обалденно!

— Спасибо, — улыбнулся Поэт.

Они ели медленно. Лена рассказывала про работу. Он слушал.

И всё время — фоном, тихо — Лена иногда поглядывала на соседние столики. На пожилых. На молодых у окна, всё ещё держащихся за руки.

Поэт это видел.

Но ничего не сказал.

«Помни о правилах. Не импровизируй».

Они вышли из «Маяка» в начале пятого. Солнце уже стояло низко, но ещё светило, и парк стал золотым.

Поэт сунул руки в карманы пиджака — за лацканами, как привык. Лена взяла его под локоть.

Где-то играла приглушённая музыка. Донесся гудок маленького паровоза детской железной дороги.

Парк был многолюден. Парочки, группки подростков на роликах и самокатах, мамы с колясками, отряд бабулек с палками для скандинавской ходьбы.

К озеру вышли минут через десять. Миновали лодочные станции и административное здание, свернули к выходу на боковую дорожку, под деревья. Дошли до свободной скамейки. Сели лицом к озеру.

Перед ними плавала большая серая утка с тремя утятами — позднее потомство, медленно дозревающее к холодам.

— Тём.

— Да?

— Мама звонила утром.

Поэт промолчал, ждал продолжения.

— Они с папой в октябре уезжают в отпуск. К папиной сестре, в Краснодар. На месяц.

— На целый месяц?

— Да. У тётки юбилей, там вся семья собирается.

— Здорово.

— Хочется, чтобы вы познакомились до этого. Папа у меня старых взглядов. Пока тебя не увидит, не успокоится, — усмехнулась Лена и посмотрела на Поэта.

Он понимающе кивнул. Этот разговор Лена начинала уже не в первый раз. Папа хочет с ним познакомиться. И это его желание с завидным упорством проталкивала мама Лены в каждом своём разговоре с дочерью.

— Я планировала в сентябре отгулы взять, — продолжила Лена. — Шесть дней. Чтобы на день рождения в Оху поехать.

Она помолчала и осторожно добавила:

— И ты, кажется, говорил, что у тебя в сентябре отпуск. С двенадцатого. Я не путаю?

Всё верно. В сентябре и у него, и у Гитариста отпуск. Они всегда брали отпуска одновременно. Иначе — никак.

— Не путаешь, — сказал он тихо.

— Ну вот. Видишь, как всё складывается.

Поэт посмотрел на озеро.

В их общем дневнике на этот случай не было ничего. Они ещё не обсуждали 15 сентября. Просто помнили об этом, чтобы договориться и купить в подарок одно и то же. Чтобы поздравить Лену. А вот всё остальное пока никак не складывалось в чёткую последовательность действий. В канву.

Мизинец левой руки нашёл шов на ребре скамьи и тихо постукивал.

— Я уточню у начальства, вдруг там опять что-то с графиком напутали. И скажу тебе, хорошо?

— Да? — в глазах Лены вспыхнула радость, которую она тут же постаралась скрыть. Она словно не ожидала такого ответа.

— Дай мне время до конца недели. Ты же знаешь мою ГП. Надо поймать её настроение.

Лена рассмеялась.

— Твоя начальница мне напоминает нашу заводчелением. Такая же строгая. Значит, до конца недели?

Она посмотрела ему в глаза.

— Да, — кивнул Поэт. — Не хочу обещать и потом подвести.

Лена кивнула.

— Хорошо.

В этом её «хорошо» было что-то новое — лёгкое, почти незаметное. Облегчение.

Он не сказал «нет». В первый раз за год и два месяца он не закрыл дверь.

Лена положила ладонь на его руку. Слегка сжала, переплела свои пальцы с его, нащупала жёсткие подушечки.

— Опять чинил забор?

— Доски сменил, петли подкрутил.

— Левин, у тебя мозоли как у человека, который чинит заборы каждый день.

— Бабушке нужен забор, который её переживёт, — вздохнул Поэт и улыбнулся.

Она улыбнулась в ответ и положила голову ему на плечо.

В Мире-Скобке Гитарист сидел на той же лавке, у того же пруда, перед той же серой уткой с утятами.

Когда его Лена сказала «видишь, как всё складывается», он коротко тронул шрам у виска и за три секунды прокрутил все возможные сценарии.

Едут в сентябре — кто из них окажется в Охе? Если скольжение за ужином у её родителей, Поэт будет импровизировать, а импровизация Поэта — это всегда волна.

Если не поедут сейчас — Лена отодвинется, но отодвинется предсказуемо, в рамках, которые можно скорректировать.

Значит, надо пока отложить. И придумать, как провести встречу максимально контролируемо.

— Лен. Давай сразу после их поездки в Краснодар.

— Когда — «после»?

— Ну, в ноябре. Здесь, в Южном.

— А пятнадцатого?

— А пятнадцатого я с тобой. Здесь. Отметим вдвоём, хорошо?

Лена помедлила.

— Хорошо.

В её «хорошо» не было ни облегчения, ни обиды. Только тишина.

Гитарист услышал её — и внутри него качнуло. Не страх. Что-то холоднее. Как в шахматах: жертвуешь слона и через два хода понимаешь, что неправильно посчитал темп.

Он чувствовал, как это её «хорошо» оседает внутри. Не жалоба — просто констатация, которую умеют делать женщины, умеющие ждать. Он умел не замечать таких вещей. Двадцать четыре года практики.

И он не стал переигрывать.

Канва есть канва.

— Артём?!

Гитарист, а следом за ним и Лена, обернулись.

По дорожке шла женщина с коляской — невысокая, тёмная короткая стрижка, лёгкий пуховый жилет поверх футболки, на ходу прижимающая ладонью сумку, которая сползала с плеча. Рядом шагал мальчик лет пяти, державший её за карман и засунувший в рот леденец. Женщина улыбалась так, как улыбаются, когда узнали человека первой и теперь ждут, чтобы он тоже узнал.

— Артём, ты что, не узнаёшь? — она засмеялась. — Ну, я сейчас обижусь.

Он узнал секундой позже.

— Оля? Карпова? Господи... ты?

— Я, — ещё шире улыбнулась женщина. — Только давно уже не Карпова! Вяземская я, по мужу. — Она подкатила коляску ближе. — А я иду и смотрю: ты или не ты? Это сколько же лет мы не виделись?

— Одиннадцать, — быстро прикинул в уме Артём.

— Одиннадцать? Это с Мишкиной свадьбы? Ох, я тогда ещё худая была!

Оля Карпова. Одиннадцатый «Б», староста, отличница, ровная, как стрелка часов. Единственная в классе, кто умудрялся помирить мальчишек после драк, не унижая никого. У неё оба Артёма в старших классах списывали биологию. В девятом классе она недолго встречалась с Мишкой Зайцевым, потом разошлись по-доброму, остались друзьями.

На свадьбе Мишки она была с мужем-программистом — кажется, Костей. Артём тогда тоже прилетел из Хабаровска, как раз решался вопрос с продажей родительской квартиры. Еле дотянул до второго тоста, сослался на ранний рейс и ушёл. Чтобы не вызвать волну — слишком много людей было вокруг, а Артёмы уже тогда сознательно сужали круг своего общения. Всё было по плану.

— Это Сашка, — сказала Оля, кивнув на мальчика. — А в коляске — Лёва. Два месяца. Спит, слава богу, иначе ты бы сейчас услышал такой концерт, что обернулся бы весь парк.

— Поздравляю!

— Спасибо, — она засмеялась. — Артём, рассказывай. Ты где, как? Я слышала, ты в Южном осел. А бабушка где? В Александровске осталась?

Лена, сидевшая рядом, чуть подвинулась. Оля её заметила и сразу улыбнулась — открыто, без оценки.

— Ой, простите, что вламываюсь. Я — Оля. Мы с Артёмом со школы знакомы. С шестого класса за одной партой сидели.

— Лена.

— Очень приятно. Вы..?

Оля явно хотела узнать статус Лены, но не знала, как спросить.

— Я девушка Артёма.

— Серьёзно? — Оля повернулась к Гитаристу. — А я думала, ты у нас принципиальный одиночка. А почему до сих пор не сделал такой красавице предложение? Ладно, шучу-шучу, сами разберётесь! — Оля увидела смущение и Артёма, и Лены. — Это во мне профессиональное проскальзывает, не обращайтесь внимания. Учительница начальных классов, привычка лезть во всё. Лечится только пенсией. Так где ты сейчас, Артём? Кем трудишься?

— Бабушка после переезда из Александровска в посёлке под Холмском обосновалась, там у неё подруга жила, да и климат нравится. А я после универа тут осел. В типографии сейчас работаю. Корректором.

Оля медленно покачала головой.

— Сыроежкин — корректором, надо же! Помнишь, у меня в сочинении про Печорина все запятые твои стояли? А Марья Степановна мне четвёрку вlepила, сказала, что мысль не моя.

— Мысль была твоя. Мои были только запятые.

— Вот и я ей говорила. Не помогло.

— А почему «Сыроежкин»? — с интересом спросила Лена.

— Да он у нас в классе самый странный был. Нам порой казалось, что их двое, как в фильме «Приключения Электроника». Помните, был такой фильм детский?

— Двое?

— Ну да. У Артёма тогда настроение за день могло два раза подряд поменяться. И забывал порой, что на уроке ответил.

Гитарист почувствовал знакомый холодок. Слишком близко к правде.

— Артём, помнишь казус на физике? — продолжила Оля. — Когда ты на уроке два раза подряд руку тянул и одно и то же учителю рассказал?

Гитарист кивнул. Конечно, он помнил этот случай. Накладка тогда вышла, скользнули с Поэтом прямо во время урока. И оба ответили. С тех пор не тянули руки, ждали только когда спросят.

Старший сын дёрнул Олю за карман:

— Мам.

— Сейчас, Саш. Дай тёте Лене на тебя насмотреться.

— Это не тётя.

— А кто?

Сашка серьёзно посмотрел на Лену. Подумал.

— Не знаю.

Лена засмеялась — тихо, тепло. Оля посмотрела на сына со смешанной строгостью и нежностью и снова повернулась к Гитаристу.

— А наших ты кого-нибудь видишь?

— Никого. Кто в Александровске остался, кто на материк уехал. Контактных нет.

— Мишка в Хабаровске, развёлся. Они с Машкой не сошлись, жалко. Серёга Демидов в Москве, юрист, толстый стал. Лариса Юдина в Корсакове, у неё там магазин. А Степанюк погиб.

Он замер.

— Когда?

— В девятнадцатом. На том же перевале, где и родители твои. Работал на КамАЗе, что-то с тормозами...

Гитарист нахмурился, погрузился...

— Мы тебя тогда искали, телефона твоего ни у кого не было. Прости, я думала, до тебя дошло.

— Не дошло. Говорю же — контактов нет. Я после переезда сюда телефон сменил.

Оля помолчала. Сашка тянул её за карман сильнее.

— Ну, не на улице же это рассказывать, — она достала из сумки телефон. — Артём, дай мне свой номер. Тут наших, александровских, в Южном человек семь набралось. Светка Бортникова, Андрюха Кротов — мы иногда собираемся, без повода. Приходи, — с улыбкой посмотрела на Лену. — Вместе приходите.

Они обменялись номерами. Оля посмотрела на экран и засмеялась:

— Сыроежкин в контактах. Я тебя так и запишу.

— Запиши.

— А меня — Карповой. Иначе не вспомнишь же!

В Мире-Молнии тот же разговор с Олей пошёл совсем по-другому.

И на то была причина. Старая причина.

— Значит, ты в школе? — спросил Поэт, убирая телефон, в который только что внёс контакт Оли.

— Ну, ещё в декретном пока. А так да — в школе. Мама всю жизнь говорила, что я в школу больше не пойду никогда. И — вот.

Оля посмотрела на Лену и вдруг улыбнулась — той улыбкой, с которой женщины достают чужие старые истории на свет.

— Лена, а вы знаете, что у нас в школе Артём один раз всех в обморок уронил?

— Это как?

Поэт непонимающе нахмурился.

— Это был выпускной. Одиннадцатый класс. Весь вечер — танцы, тосты, родители плачут, всё как положено. И вот объявили номер от выпускников. И выходит наш Артём. С гитарой. Понимаете — наш Артём. Который за одиннадцать лет ни разу никому не сказал, что на гитаре играет. Который вообще на сцену не выходил никогда. У нас Светка Бортникова чуть морс на себя из графина не опрокинула.

Лена медленно повернулась к Поэту.

— Ты играл на гитаре на выпускном?

Поэт почувствовал, как внутри что-то коротко натянулось. Не лицом — где-то ниже, под ключицей.

— Оля преувеличивает, — выдавил он.

— Я не преувеличиваю! Ты сел на эту дурацкую табуретку, которую Виктор Палыч из физкультурного зала притащил, и сыграл. Медленно так, грустно. Я уже забыла, что за песня. Что-то такое — то ли своё, то ли чужое. Все девочки чуть не плакали. Светка точно плакала.

Внутри стало нехорошо.

Гитарист.

Гитарист, гад!

Пятнадцать лет назад. Выпускной. Поэт тогда учился в этой же школе, в этом же классе, был тем же Артёмом — но на выпускном вечере в этом мире тогда был Гитарист.

Поэт об этом случае узнал только следующим утром, когда проснулся, открыл дневник и прочитал торжественное послание от Гитариста:

«Я сыграл. Я вышел и сыграл. Все офигели. Виктор Палыч плакал. Бабушка, прости меня, я знаю, что это волна, но я не смог не выйти».

Поэт тогда в дневнике взорвался. Это была одна из самых страшных их ссор за всю жизнь — на восемь страниц переписки, с обвинениями, упрёками, и — бабушкой, которая, прочитав, сказала: «Дураки. Хорошо, что хоть в чём-то разные».

Тогда казалось — переболели. Тогда казалось — забудется. Что волны не будет. Кто помнит школьный выпускной в маленьком городке? Ну сыграл и сыграл. Кому это будет надо по прошествии стольких лет?

Оказалось — Оле.

— Светка тогда от всего плакала, — пробормотал Поэт. — Даже от пятёрок.

— Не отшучивайся. Ты тогда играл хорошо. Не как «вышел и побренчал», а так, что было слышно — умеешь.

— Ну, сыграл один раз. И всё.

— Лена, представляете? — Оля повернулась к ней с искренним удовольствием рассказчика. — Никто не знал. Учителя обомлели. Вот такой он странный был. Тихоня.

Лена внимательно посмотрела на Поэта. Глаза у неё были уже не зелёные. Серые.

В этот момент в кармане у Оли пискнул телефон.

— Костя, — сказала она, посмотрев на экран. Поднесла трубку к уху. — Да, я... да, всё, идём... ну подожди ты пять минут... да встретили одноклассника я тебе говорю... да, я уже... Костя, иди нам навстречу, мы у пруда, на боковой лавке. Угу. Ну всё.

Она отключилась, виновато пожала плечами.

— Мужчины. Вам нельзя стоять в одной точке дольше пяти минут, у вас от этого начинается невроз.

Поэт натянуто улыбнулся.

— Артём, ты только не пропадай ещё на одиннадцать лет, ладно? Я тебе этого не прошу.

— Не пропаду.

— Лена, очень-очень рада была. Правда, — Оля быстро поцеловала Поэта в щёку — по-сестрински, без двусмысленностей. — И берегите его. Он у нас один такой.

Она развернула коляску. Сашка ещё раз обернулся, посмотрел на Артёма — серьёзным взглядом пятилетнего человека, который что-то заметил, но пока не понял, что, — и пошёл, крепко держась за карман мамы.

Они скрылись за поворотом аллеи. Поэт опустился на скамейку.

Утка с утятами уплыла к другому берегу. Где-то далеко продолжала играть музыка.

Оля помнит. И именно сейчас, в августе, на боковой лавке у озера, в первый солнечный день после недели дождя, она встретила Артёма и вспомнила про его игру на гитаре.

И сказала при Лене.

А Гитарист сейчас сидит в Скобке.

В Скобке Оля никакого выпускного не вспомнит — потому что в Скобке Поэт на выпускном сидел в зале, как все нормальные люди. Без гитары. Без табуретки. Без Светки Бортниковой в деланном обмороке.

Лена-Скобка ничего не услышит.

А Лена-Молния — только что услышала.

И теперь у них две разные Лены. В одной голове — Артём, который однажды вышел и сыграл на гитаре. В другой — Артём, у которого этого не было.

«Из-за тебя!»

Эта мысль пришла так, как приходят в детстве. Без оформления, без логики, без «но мы же оба...». Просто — из-за тебя. Ты сыграл. Тебе тогда хотелось. Ты тогда «не смог не выйти». А я сейчас расхлёбываю — с женщиной, которую люблю, и которая смотрит на меня уже серыми глазами.

Поэт почувствовал, как мизинец левой руки сам, без команды, начал постукивать по шву на ребре скамьи.

Раньше они умели гасить такие волны. Один что-то сделал — второй знал и подстраивался. Один сболтнул — второй за полдня дочищал. Канва держалась, потому что они работали вдвоём, в один такт. Сейчас Гитарист сидел в Скобке и ничего не знал. И до следующего скольжения не будет знать. А Поэт сидел в Молнии — один. С Леной. Которая теперь знает про гитару.

Это было нечестно.

— Тём, — сказала Лена.

— Что?

— Ты играл на гитаре?

Началось. Теперь это надо как-то сглаживать.

— Один раз. Сыграл и забыл. Как-то потом не до этого было...

— А для меня ты мог бы сыграть?

— Лен, я...

Он не договорил. Она не переспросила.

Минуту они оба молчали. Поэт мучительно пытался подобрать слова. Как-то объяснить, отшутиться, свести вопрос в безопасную плоскость. Он повернулся к ней. Лена смотрела на воду.

— Лен, — он положил ладонь поверх её ладони. — Прости меня.

— За что? — она не отвернулась от воды.

И он вдруг произнёс вовсе не то, что собирался сказать изначально.

— За то, что у меня в жизни есть истории, которые я никому не рассказываю. Это не потому, что я тебе не доверяю. Просто я сам в себе ещё не до конца разобрался.

Сказал и замер.

Лена медленно повернула голову.

— Левин.

— Что?

— Это была самая длинная и честная фраза, которую я услышала от тебя за всё время нашего знакомства.

— Это хорошо или плохо?

— Молчи. Я хочу её немного поддержать.

Они помолчали.

Утка с утятами уплыла совсем далеко.

Лена положила голову ему на плечо.

— Я тебя люблю, Левин.

Сказала так, как медсёстры говорят детям «не больно» — не для эффекта, а для факта.

Поэт закрыл глаза. Внутри одновременно стало больно и хорошо. Он не сказал ей «люблю» в ответ. Не смог сказать. Не имел права.

Таковы правила.

Но рука его сжала её руку чуть крепче и нежнее, чем обычно.

И Лена это почувствовала.

Они обошли пруд ещё раз. Лена больше про гитару не спрашивала. Говорили о пустяках — про новую кофейню на Сахалинской, про Маринку, про Олиных детей. Лена шутила. Поэт отвечал. Но между ними теперь шёл ещё один разговор — молчаливый, в полутонах, который Лена вела сама с собой, а Поэт слышал, не имея права в него вступить.

Около шести солнце ушло нижним краешком за сопки. Парк остыл. Сразу стало понятно: лето закончилось.

— Поедем?

— Поедем.

В такси они почти не разговаривали.

Лена смотрела в окно, не выпуская его руки из своей. Поэт чувствовал её пульс кончиками пальцев. Он бился чуть быстрее обычного. Канва трещала по швам от этого пульса, но он не отпускал её руку.

У дома он вышел из такси вместе с ней. Подошли к подъезду. Зелёная дверь. Угловое окно третьего этажа — её окно. Точнее её и ещё одной медсестры из отделения, с кем вместе Лена снимала эту квартиру.

— Спасибо за день, — прошептала Лена, припав к его груди.

— Тебе спасибо.

— Завтра тяжёлая смена.

— Ты справишься.

— Завтра позвонишь?

— Конечно.

— У своей ГП спросить про отпуск не забудь.

— Помню.

Она посмотрела на него снизу вверх. Глаза были уже серые. Те зелёные, что были днём, ушли вместе с солнцем.

Лена поднялась на цыпочки, поцеловала его в уголок губ — коротко, по-домашнему.

— Спокойной ночи, Тём.

Она развернулась, сделала шаг к подъезду.

— Лен.

Она обернулась.

Поэт смотрел на неё несколько секунд. Внутри — ничего из правил. Ничего из канвы. Только Лена в сумерках, с медными бликами в волосах, с серыми глазами, с кожаным шнурком на запястье.

— Спасибо, что ты у меня есть.

Лена замерла.

Она не ожидала. Это было слышно по её дыханию.

Потом — медленно — вернулась. Взяла его лицо в ладони. Поцеловала. Не коротко, не по-домашнему — долго, как целуют, когда впервые слышат то, чего давно ждали.

Поэт ответил на поцелуй.

Через минуту Лена отстранилась. Посмотрела на него.

— Левин.

— Что?

— Иди домой. Пока я не передумала и не утащила тебя к себе.

— А твоя соседка по квартире?

— Она сегодня на дежурстве.

— Я бы пошёл.

— Иди домой, корректор.

Она улыбнулась. Глаза у неё были уже не серые. Они были непонятно какие — словно за эти полминуты у Лены поменялась внутренняя погода, и теперь там был свой август, своё солнце, своё «всё-таки — да!».

Она ушла в подъезд. Зелёная дверь хлопнула.

Поэт посмотрел на тёмное окно.

Свет в окне зажегся через минуту. В проёме мелькнула тень.

Она не подошла к окну сразу. Подошла секундой позже. Постояла у занавески. Махнула рукой — он не разглядел, увидел только движение.

Он махнул в ответ.

В Мире-Скобке Гитарист стоял у того же подъезда.

Его Лена сказала те же слова — про звонок, про тяжёлую смену. Только не было ничего про отпуск — Гитарист про решение вопроса до конца недели здесь не обещал.

— Спокойной ночи.

— Спокойной.

Она поцеловала его — в уголок губ. Коротко.

И ушла.

Гитарист постоял. Посмотрел на окно. Лена к нему не подошла. У Лены в этом мире, видимо, сегодня не было повода смотреть в окно после расставания с Артёмом.

Гитарист кивнул сам себе.

Правильно. Всё правильно. По канве.

Только то самое «хорошо», которое она сказала ему у лавки в парке, всё ещё стояло внутри — плоское, как монета на дне стакана.

Он махнул головой, отгоняя лишние мысли, достал телефон, открыл приложение такси. Адрес — домой. Машина будет через пять минут.

Всё по плану. Гитарист всегда следовал плану.

Это была одна из его привычек, за которую Поэт его иногда тихо ненавидел. И Гитарист об этом знал.

Через пять минут такси приехало, и он поехал домой.

В Мире-Молнии Поэт всё ещё стоял на тротуаре.

Зелёная дверь была закрыта. Окно горело. Лена ушла вглубь квартиры.

Он медленно достал телефон. Открыл приложение такси. Палец завис над иконкой.
И не нажал.

Он не мог сейчас сесть в машину. Не мог сидеть. Не мог быть в закрытом пространстве.
Нужно было идти. Дышать. Понять, что он только что сделал.

Он убрал телефон в карман и медленно пошёл по улице в сторону проспекта.
«Спасибо, что ты у меня есть».

Он так сказал.

И не жалел об этом.

Это было самое страшное.

Он не пожалел.

«Никому не говорить "люблю"».

Он не сказал именно так. Он сказал: «Спасибо, что ты у меня есть».

Но Поэт чувствовал, что сказал именно «люблю», только — другими словами.

За двадцать четыре года жизни по канве — впервые сказал что-то, чего не обсудил предварительно с Гитаристом. Что-то, чего Гитарист — а он это знал — никогда бы не одобрил. Что-то, что Гитарист завтра прочтает в отчёте и взорвётся.

А пусть взрывается. Пусть напишет что-нибудь длинное, холодное, с «канвой» в каждом абзаце. Пусть!

«Пусть расхлёбывает свою гитару на выпускном, — думал Поэт. — А заодно смиритесь с тем, что я сегодня сказал Лене. Если у него хватит того, что я называю смелостью, а он — нарушением.»

Это было несправедливо. Это было по-детски. Поэт это слышал в себе, но не хотел останавливаться.

Где-то на полпути он понял, что идёт не туда. Не к проспекту. Он машинально свернул к тому двору с лестницей, который частенько — лет десять назад, когда ещё бегал по работе курьером для типографии — использовал как короткий путь.

«Ничего. Пройдусь. Полезно. Голова прояснится».

Он не стал возвращаться и вызывать такси.

«Не менять маршрут».

Это было их старое правило. Поэт его помнил. Поэт его сегодня сознательно не вспоминал, потому что вспомнить — значило согласиться. Согласиться — значило признать, что Гитарист и сегодня прав. А Гитарист сегодня был не прав. Сегодня — впервые за долгое время — Поэт хотел сделать наоборот. Сегодня он хотел дойти до дома сам, своими ногами, а не по графику, написанному тем, кто никогда не рискнёт поцеловать Лену так, как поцеловал её он.

Двор был пустой. Одна машина у дальнего подъезда. Свет в нескольких окнах — жёлтый, домашний. Где-то лаяла собака. Цепная карусель на детской площадке скрипела на ветру, пустая.

Поэт прошёл по дорожке и спустился по бетонной лестнице — три ступеньки, привычные, ровные, мокрые после дневного дождя. Ничего не случилось. Он спустился на проспект Мира и пошёл по освещённой стороне.

Через двадцать минут он был дома.

Глава 5. Маятник

Понедельник начался слишком тихо.

Не той тишиной, которая бывает утром после хорошего сна, когда дом ещё не проснулся и можно несколько минут лежать, не вспоминая о мире. Нет. Эта тишина была плотной, настоженной, как пауза перед тем, как кто-то всё-таки скажет лишнее.

Ночью они снова скользнули.

Без сна про перевал. Без крика. Без мокрой дороги и синего рюкзака на коленях. Просто где-то между двумя часами мрака мир качнулся подобно маятнику, сознания поменялись местами, и к утру каждый проснулся уже не там, где засыпал.

Гитарист открыл глаза.

Потолок. Трещина в штукатурке. Река с притоками.

Он не сразу пошевелился. Сначала просто послушал квартиру: холодильник на кухне, капли в ванной, какой-то далёкий металлический звук в трубах. Утро, в котором сразу после пробуждения любой звук казался чужим.

Левая рука легла на правую ключицу. Рубец был на месте.

Молния.

Он выдохнул и сел. Чёрная рубашка с вечера висела на плечиках, зацепленных за дверцу шкафа — застёгнутая на все пуговицы, чтобы не теряла форму. Не так, как оставил бы он. Поэт всегда застёгивал её до самого горла, будто боялся, что из расстёгнутого ворота вырвется что-то лишнее.

Гитарист поднялся, прошёл на кухню, включил чайник. Поставил кружку под кран, налил воды — слишком много, почти до края, — и только потом понял, что собирался не пить, а просто сполоснуть. Вода перелилась через край, холодно побежала по пальцам.

Он выключил кран.

Постоял.

Потом медленно поставил кружку в раковину.

Ноутбук загружался долго. Вчерашний день уже лежал внутри него, как запечатанный конверт с плохими новостями. Гитарист почему-то это знал ещё до того, как открыл мессенджер.

Страница: Артём Левин — Молния.

Последнее сообщение было от Поэта — отправлено вчера поздно вечером.

Гитарист начал читать.

Сначала — обычное.

Бабушка. Дорога. «Маяк». Лена. Близнецы у неё в отделении. Корейская еда, прогулка по парку, озеро.

Потом — Оля Карпова.

Гитарист поморщился, ещё не понимая, где именно ударит.

«Оля вспомнила выпускной. Твоё выступление с гитарой. Да, то самое. Лена услышала. Спросила, играл ли я. Сказал, что один раз, давно. Вышло не очень, но лучше не придумал. Спасибо тебе за эту волну пятнадцатилетней давности. Всплыла, поздравляю».

Гитарист закрыл глаза.

Ну конечно.

Гитара.

Та самая.

Табуретка на выпускном, физрук Виктор Палыч, мокрые глаза Светки Бортниковой, бабушкино молчание на кухне на следующий день и восемь страниц дневникового скандала с Поэтом.

Он тогда действительно написал: «Я не смог не выйти». И это было правдой. Не оправданием. Просто правдой.

Он открыл глаза и продолжил читать.

«У пруда Лена сказала про родителей и поездку в Оху. Я сказал, что уточню у ГП насчёт отпуска до конца недели. Не обещал, но и не отказал, оставил "дверь открытой". Она обрадовалась. Очень. Ты бы видел».

Что? Гитарист от неожиданности с хрустом сжал пальцы.

Дальше.

«У подъезда она поцеловала меня и пошла к двери. Я остановил её. Сказал: "Спасибо, что ты у меня есть". Потом она вернулась, и мы поцеловались ещё раз. Долго. Она ушла счастливая. Я знаю, что ты сейчас начнёшь писать про канву, правила и невозможность жить на два мира. Пиши. Но я не жалею».

Пауза.

Гитарист перечитал последние две строки.

Потом ещё раз.

«Я не жалею».

Он провёл ладонью по лицу снизу вверх, сильно, до боли. Потом ещё раз. На скулах остались красные полосы. Кожа горела.

Дальше было хуже.

«Домой пошёл пешком. Да, не по маршруту. Через дворы. Ничего не случилось».

Гитарист откинулся на спинку стула.

В квартире было светло. Обычное утро. Понедельник. На холодильнике всё те же стикеры, всё тот же магнитик с изображением скал «Три Брата». В раковине кружка с водой, перелившейся через край. За окном Южно-Сахалинск приходил в себя после дождей и воскресного солнца, будто ничего не знал.

Но Гитарист знал.

То, о чём написал Поэт, было не ошибкой.

Ошибка — это когда два раза здороваешься с Тamarой Ивановной. Когда забываешь купить хлеб. Когда не записываешь, что Галина Петровна ждёт макет к понедельнику.

А это было другое.

Это был поступок.

Не согласованный. Не вынужденный. Не случайный.

Саботаж.

В памяти всплыло бабушкино лицо. Не строгое даже — усталое. Вечер в её доме, спицы в руках, серый носок на коленях.

«Это не "протянули", Тёма. Это "дотянули". Разница есть».

Фраза вдруг пришла сама, без приглашения.

Дотянули.

Гитарист наклонился к клавиатуре. Пальцы легли на клавиши не сразу. Сначала они просто стояли над ними, как над холодной водой.

Потом он написал:

«Привет, Я!

Прочитал.

По гитаре — да, моя вина. Давняя. Признаю. Но ты сейчас сделал не то же самое. Ты сделал хуже. Ты не “открыл дверь”. Ты сломал синхрон. Оля — случайность, которую можно погасить. Твои слова у подъезда — решение. Твой второй поцелуй — решение. Пешком через дворы — тоже решение.

Ты не романтик. Ты — авария.

Я буду исправлять последствия. Сегодня. Без истерик. Без красивых слов. Если ты не можешь держать канву, я буду держать её за нас обоих.

Гитарист.»

Перечитал, что получилось.

Слово «авария» ударило слишком сильно. Гитарист несколько секунд с сомнением смотрел на него. Потом отправил, не стирая.

В Мире-Скобке Поэт проснулся от солнца.

Оно било в штору сбоку, тонкой белой полосой, и на стене дрожала светлая линия. После недели дождя солнце казалось чем-то почти неприличным. Слишком ясным для понедельника.

Правая рука поднялась к виску.

Рубец над ухом. Скобка.

Поэт сел. На тумбочке лежал телефон с серой заставкой. Рядом — Мураками, раскрытый страницами вниз. Гитарист опять читал перед сном. Поэт посмотрел на книгу с тихим раздражением, но трогать не стал.

На кухне хлеб был на месте. Чайник — пустой. Кружка — в сушке, ручкой вправо. Это было в манере Гитариста. Он всегда ставил ручкой вправо. Практично, сухо, чтобы сразу взять.

Поэт набрал воды в чайник, включил его и открыл ноутбук.

Мессенджер.

Артём Левин — Скобка.

Последнее сообщение — вчерашнее.

Он начал читать стоя, не садясь.

«Привет, Я!

Воскресенье. Всё по маршруту. Бабушка без сюрпризов. Встреча с Леной в “Маяке” прошла нормально. В парке говорили про родителей. Она предложила Оху на 15 сентября. Я сказал, что после их отпуска будет разумнее. Ноябрь. Здесь, в Южном. День рождения предложил отметить вдвоём. Она согласилась. Сказала “хорошо”. Без радости, но спокойно. У подъезда попрощались обычно. Такси вызвал. Домой вернулся по плану.

Всё по канве.

Гитарист.»

Поэт дочитал.

И ещё раз.

«Она согласилась. Без радости, но спокойно».

Он сел.

Стул под ним тихо скрипнул.

Он видел эту сцену слишком ясно, хотя не был там. Лавка у пруда. Серая утка с утятами. Лена, которая осторожно, почти бережно выносит на свет своё предложение: день рождения, отгулы, родители дома, его отпуск.

«Всё складывается, Тём. Видишь?»

И в ответ — ноябрь.

Здесь.

Потом.

Не сейчас.

Не туда.

Не к ним.

Поэт сжал пальцы на краю стола. Мизинец левой руки нашёл щербинку в дереве и начал постукивать сам, глухо, неровно.

Он помнил бабушку. Её чашку с мятным чаем. Её голос без нажима, оттого особенно тяжёлый:

«Терпение — это не вечный ресурс».

Она не говорила это как угрозу. Бабушка вообще редко угрожала. Она просто называла вещи правильными именами.

Терпение кончается.

Даже у Лены.

Особенно у Лены, потому что она столько терпела молча.

Поэт представил, как Лена в Скобке уходит в подъезд после обычного короткого поцелуя. Как не подходит к окну. Как в комнате снимает платье, аккуратно вешает на спинку стула, моет руки — долго, по-больничному, до локтей, хотя смены сегодня не было. Как смотрит в зеркало и пытается понять, что именно с ним не так.

С ним.

С Артёмом.

С ними.

Поэт открыл новое сообщение.

Сначала набрал быстро:

«Ты трус».

Остановился.

Стёр.

Пальцы дрожали. Не сильно, но достаточно, чтобы он это заметил.

Он написал заново:

«Привет, Я!

Прочитал.

Ты не канву спас. Ты человека ударил. И прикрылся правилами.

Она предложила тебе не каприз. Не поездку “куда-нибудь”. Она предложила следующий шаг. Нормальный человеческий шаг. Ты мог сказать: “мне страшно”. Мог сказать: “дай поду-

мать». Мог сказать хоть что-то живое. Ты выбрал ноябрь, потому что ноябрь — это не решение, а отсрочка.

Ты называешь это канвой. Я называю это трусостью, но пока оставляю слово при себе. Поэт.»

Он перечитал.

Фразу про трусость всё равно оставил — уже в виде тени.

Так даже хуже.

Отправил.

Чайник щёлкнул.

Поэт не сразу понял, что вода вскипела.

Типография в понедельник пахла так же, как и в пятницу: бумагой, тонером, горячей пылью и кофе из общей кофеварки. Запах был надёжным. В нём не было Лены, Оли, бабушкиных слов, поцелуя у подъезда и ноября вместо сентября.

Обычный рабочий день.

В обоих мирах.

Галина Петровна с утра требовала макеты, шуршала распечатками, смотрела поверх очков и произносила слово «срочно» с таким выражением, будто оно одно держит экономику области. Женька гремел клавиатурой, жаловался на заказчиков и пил свой бездонный кофе.

Всё было как всегда.

И всё было не так.

Гитарист пришёл на работу раньше обычного. В Мире-Молнии дворник ещё подметал мокрые листья у входа, хотя листьев было всего ничего — конец августа, не осень, но Сахалин всегда торопился начать раньше не только новый день, но и новый сезон.

Он повесил пиджак на спинку стула. Потом заметил, что рубашка застёгнута, как у Поэта, до самого горла, и расстегнул верхнюю пуговицу. Следом расстегнул ещё одну. Сразу стало легче дышать.

На столе лежал макет буклета для медицинского центра. Ирония была настолько прямой, что даже не хотелось улыбаться.

Он взял красную ручку.

Прочитал первую строку три раза и не понял смысла.

«Современная диагностика для всей семьи».

Слова были простые. Ошибок не было. Но взгляд скользил по ним, как по мокрому стеклу.

В соседней комнате Женька что-то уронил, выругался коротко и творчески, потом появился в дверях корректорской с кружкой в руке.

— Левин.

— Что?

Женька прищурился.

— У тебя сегодня такой вид, как будто ты сам себя бросил.

Гитарист поднял глаза.

Женька сказал это легко. Как всегда. С тем ленивым верстальщицким любопытством, которое обычно не требовало ответа.

Но фраза вошла точно.

«Сам себя бросил».

Гитарист медленно положил ручку на стол.

— Понедельник, — сказал он.

— Понедельник у всех. А такая физиономия только у тебя. ГП уже спрашивала, живой ли ты.

— Живой.

— Живой — это не диагноз. Это временное состояние.

— Иди работай, философ.

— Иду. Но если что — кофе в комнате отдыха. И печенье. Правда, прошлонедельное, но ты сегодня тоже не первой свежести — вы поладите.

Женька ушёл.

Гитарист посмотрел на красную ручку. Потом на макет.

«Сам себя бросил».

Он взял ручку снова и подчеркнул лишний пробел там, где его не было.

В Мире-Скобке Поэт тоже сидел за своим столом.

Точнее — за их столом. Красная ручка лежала справа — Гитарист в пятницу всё-таки забыл переложить её по правилу. Поэт с глухим раздражением переложил её влево. Сегодня даже эта мелочь бесила больше обычного.

Галина Петровна принесла пачку рекламных листовок.

— Левин, срочно. До обеда.

— Хорошо.

— «Хорошо» — это когда сделано. Пока это «принято к сведению».

— Принял к сведению.

Она посмотрела поверх очков.

— Вы сегодня бледный.

— Понедельник.

— Понедельник — не болезнь. Хотя иногда очень похож.

Она ушла.

Поэт взял первую листовку. Глаз выхватил ошибку: «в течении трёх дней». Исправил на «в течение». Потом зачеркнул «индивидуальный подход к каждому клиенту» и написал на полях: «Штамп. Уточнить, можно ли заменить». Потом понял, что делает лишнее: это не его задача, он корректор, не редактор.

Руки работали, а все мысли были с Леной.

Вчера она сказала «хорошо» так, что даже Гитарист услышал пустоту. Поэт теперь сидел в этом мире и должен был жить с этой пустотой, как будто она была его.

В дверь заглянул Женька.

— Левин, у тебя сегодня лицо, как будто ты сам себя бросил.

Поэт поднял на него глаза.

На секунду ему захотелось сказать: почти.

— Это новая форма понедельника, — ответил он.

— Мне эта форма не нравится. Верни старую.

— Старую тоже никто не любил.

Женька вошёл, сел на край соседнего стола, отпил кофе.

— Ты хоть ел сегодня?

— Ел.

— Что?

Поэт посмотрел на него.

— Ты теперь ещё и мой диетолог?

— Нет, я верстальщик. Но если корректор умрёт на рабочем месте, мне потом твои запятые досматривать. А я морально не готов.

— Не умру.

— Все так говорят.

Женька ушёл, оставив после себя запах кофе и чужую, почти нормальную заботу.

Поэт посмотрел на листовку.

Буквы расплывались.

«Сам себя бросил».

Нет.

Не себя.

Её.

Лена-Молния позвонила в 11:37.

Гитарист увидел имя на экране и несколько секунд смотрел на него, не нажимая.

Лена.

После вчерашнего она должна была ждать звонка от него. От тёплого Артёма. От того, который сказал ей у подъезда: «Спасибо, что ты у меня есть». От того, кто не просто ответил на поцелуй, а удержал её.

От Поэта.

А трубку должен был взять он.

Гитарист вышел в коридор. Там пахло бумагой и мокрой одеждой. У кулера стояли две пустые бутылки, одна криво, другая ровно. Он нажал зелёную кнопку.

— Да.

— Привет, — сказала Лена.

Голос у неё был светлый. Не громкий, нет. Но в нём было то самое послевкусие вчерашнего вечера, которого Гитарист боялся больше всего. Как будто она улыбалась ещё до слов.

— Привет, — ответил он.

— Ты занят?

— На работе.

— Я понимаю. Я ненадолго. Просто хотела услышать.

Она почти засмеялась на последнем слове — будто сама смутилась своей прямоты.

Пауза.

Гитарист смотрел на кулер.

— Слушаю.

Слово вышло сухим. Канцелярским. Как будто он принял входящий документ.

Лена чуть помолчала.

— У тебя всё нормально?

— Да.

— Точно?

— Да. Много работы.

Она тихо выдохнула. Не смехом. И не обидой ещё. Просто воздух изменился.

— Ясно. Я, кажется, не вовремя.

— Давай вечером поговорим.

— Вечером у меня смена, ты помнишь?

Он помнил.

Конечно, помнил.

И Поэт тоже помнил бы.

Но Поэт сказал бы это иначе.

— Тогда после смены.

— Тём.

— Что?

— Что-то случилось?

Гитарист закрыл глаза.

«А если один из вас скажет ей что-то не то? Или скажет не так?»

Бабушка сидела у окна, вязание на коленях. Спицы. Серый носок. Её голос был ровным, почти бытовым. Оттого страшнее.

«А если один скажет раньше другого? Или не скажет?»

— Ничего не случилось, — сказал Гитарист. — Просто понедельник.

— Понедельник, — повторила Лена.

Она не поверила, и он это услышал.

— Ладно, — сказала она тише. — Не буду мешать.

Эти три слова оказались хуже слёз.

Гитарист хотел сказать: «Лен, подожди».

Хотел — физически, почти телом, как хотят схватить чашку, падающую со стола.

Но не сказал.

— Хорошей смены, — произнёс он.

— Спасибо.

Связь оборвалась.

Гитарист стоял в коридоре ещё несколько секунд, прижимая телефон к уху. Потом медленно опустил руку.

Он поступил правильно.

Он знал, что поступил правильно.

Но в голове, помимо воли, прокрутился весь разговор заново — и на каждой фразе мысленно вставала красная метка. «Слушаю» — вычеркнуть, заменить на «Привет, рад слышать». «Много работы» — оставить, но смягчить интонацию. «Давай вечером» — неверно, она будет на смене, он это знал, нужно было сказать «напиши, когда освободишься».

Он правил разговор, который уже состоялся. Профессиональная деформация. Бесполезная, мучительная привычка корректора — находить ошибки в тексте, который уже ушёл в печать.

От этого не становилось легче.

Он шагнул назад и задел ногой одну из пустых бутылок. Та с грохотом ударилась о стену и заскакала по полу. Гитарист не стал её поднимать.

Поэт позвонил Лене в Мире-Скобке сам.

Не стал ждать, понимая, что после вчерашнего разговора с Гитаристом она первой звонить не будет.

Было 12:15. Обеденный перерыв. В комнате отдыха кто-то оставил микроволновку открытой, и оттуда пахло разогретой гречкой. Поэт вышел на улицу, под козырёк типографии. Солнце светило уже не воскресно, а буднично — без щедрости. Просто светило, потому что положено.

Лена ответила не сразу.

— Да?

Не «Тём?». Не «привет». Просто «да».

Поэт почувствовал, как что-то внутри опустилось на пол и осталось лежать.

— Привет. Ты как?

— Нормально. На смену собираюсь.

— Тяжёлая будет?

— Обычная.

Пауза.

Он слышал, как она что-то перекладывает. Наверное, форму. Или ключи. Или свою терпеливость с одной полки на другую.

— Я вчера думал, — сказал Поэт.

— О чём?

— Про поездку в Оху. Про твоих родителей.

Тишина стала плотнее.

— Правда?

— Да.

— А вчера мне показалось, что не хочешь об этом думать.

Он закрыл глаза.

— Я знаю.

— Нет, не знаешь, — сказала Лена спокойно. Без злости. — Ты иногда думаешь, что если молчишь, то это ничего не значит. А молчание тоже значит. Вчера оно значило: «не подходи».

Поэт прислонился плечом к стене.

— Лен...

— Нет, подожди. Я не ругаюсь. Я просто пытаюсь понять. Вчера ты был один. Сегодня — другой.

Фраза прозвучала тихо. И почти попала в правду.

Поэт сжал телефон так, что побелели костяшки.

— Может быть, я просто испугался, — сказал он.

— Чего?

Всего.

Тебя.

Поездки.

Правды.

Того, что если я сделаю шаг, второй Я попробует оттащить меня назад.

— Что подведу, — сказал он. — Что пообещаю и не справлюсь.

Лена молчала.

— Я не хочу тебя подводить, — добавил он.

— А я не хочу всё время угадывать, в каком ты сегодня состоянии, — сказала она. — Ты хороший, Тём. Правда. Но с тобой иногда как с погодой на Сахалине. Утром солнце, к обеду туман, вечером предупреждение о циклоне.

Он хотел улыбнуться, но не получилось.

— Я постараюсь быть понятнее.

— Не обещай, если не можешь.

Он услышал в этой фразе вчерашнего Гитариста.

И свою злость.

— Я могу, — сказал Поэт чуть быстрее, чем нужно. — Просто мне нужно немного времени.

— Всем нужно время, — ответила Лена. — Только прежде всего оно почему-то всегда нужно именно тебе.

Тишина.

Потом она смягчилась. Как всегда.

— Ладно. Я правда собираюсь. Позвони позже, если сможешь. Не если «надо». Если сможешь.

— Позвоню.

— Хорошо.

Связь оборвалась.

Поэт ещё долго держал телефон в руке.

«Вчера ты был один. Сегодня — другой».

Солнце лежало на мокром асфальте. У бордюра блестела маленькая лужа, в которой отражалось здание типографии вверх ногами.

После обеда работа стала хуже.

Гитарист в Мире-Молнии трижды перечитал одну и ту же страницу и пропустил ошибку в слове «гарантийный». Женька заметил первым.

— Левин, ты меня пугаешь. Ты пропустил лишнюю «н». Это как если бы хирург забыл, с какой стороны у человека сердце.

— Сердце слева, — сказал Гитарист.

— У большинства. У тебя, судя по лицу, сегодня где-то в ящике стола.

Гитарист взял лист, исправил.

— Спасибо.

Женька посмотрел на него внимательнее, но ничего не сказал. И это было почти милосердием.

В Мире-Скобке Поэт, наоборот, правил слишком много. Вычищал текст до костей, выкидывал рекламные прилагательные, ставил пометки, спорил с фразами на полях. Галина Петровна вернула ему листы.

— Левин. Это рекламная листовка, а не судебная экспертиза. Вы сегодня зачем так зло?

— Простите. Переделаю.

— Не извиняйтесь. Просто не убивайте заказчика раньше печати. Это портит документооборот.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.